



# Шарль де Костер

## Легенда об Уленшпигеле

Перевод с французского  
Николая Любимова



*ФТМ*



Шарль де Костер  
**Легенда об Уленшпигеле**

«ФТМ»

1867

## **де Костер Ш.**

Легенда об Уленшпигеле / Ш. де Костер — «ФТМ», 1867

Знаменитая книга Шарля де Костера «Легенда об Уленшпигеле», увидевшая свет в декабре 1867 года, не только прославила бельгийскую литературу, но и стала выдающимся явлением всей мировой литературы, в контексте которой это произведение стоит рядом с такими великими книгами, как «Дон Кихот» Сервантеса и «Гаргантюа и Пантагрюэль» Рабле. Роман Шарля де Костера, повествующий о приключениях Тиля Уленшпигеля и его друга толстяка и обжоры Ламме Гудзака, пропитана духом свободолюбия. Тиль Уленшпигель, шутник и остроумный насмешник, от которого достается высокомерным дворянам, и монахам, и королям, становится борцом, храбрым гезом, воплощающим в себе национальный дух Фландрии. Тиль – народный герой, никогда не умирающий и не стареющий. Он многолик: то он солдат или крестьянин, то живописец в ландграфском дворце, то шут при дворе короля, но везде он остается бунтарем, борцом за счастье своего народа.

© де Костер Ш., 1867

© ФТМ, 1867



## Содержание

Шарль де Костер и Тиль Уленшпигель	6
Легенда об Уленшпигеле и Ламме Гудзаке, об их доблестных, забавных и достославных деяниях во Фландрии и других краях	16
Предисловие совы	16
Книга первая	19
1	19
2	19
3	20
4	21
5	22
6	23
7	23
8	25
9	26
10	26
11	28
12	28
13	31
14	31
15	32
16	33
17	33
18	35
19	36
20	37
21	38
22	38
23	39
24	40
25	41
26	42
27	44
28	45
29	47
30	48
31	49
32	50
33	51
34	52
35	52
36	56
37	57
38	57
39	59
40	62
41	63

42	64
43	67
44	69
45	70
46	70
47	71
48	72
49	73
50	75
51	76
52	77
53	79
54	81
55	83
56	84
57	84
58	89
Конец ознакомительного фрагмента.	91

# **Шарль де Костер**

## **Легенда об Уленшпигеле и Ламме**

### **Гудзаке, об их доблестных, забавных и достославных деяниях во Фландрии и других краях**

#### **Шарль де Костер и Тиль Уленшпигель**

Шарль де Костер (Charles de Coster, 1827–1879) родился в Мюнхене в семье управляющего делами епископа 20 августа 1827 года. Отец его был фламандцем, мать – валлонкой. Вскоре родители вернулись в Брюссель. Учился он в духовном коллеже, служил в банке шесть лет – после смерти отца не было средств к существованию. В 1850 году поступает в университет, но более всего увлекает де Костера литература. В 1847 году де Костер – один из организаторов группы «Весельчаки» в среде брюссельской литературной молодежи, которая ищет пути для национального искусства. Ищет путь в искусство и Шарль де Костер. Ему уже тогда свойственна была готовность служить искусству. «Прекрасно, когда человек горд и свободен, даже если он остается бедным», – писал де Костер, предрекая собственную участь. Эта решимость служить искусству, не боясь невзгод, бедности, – величайшее достоинство де Костера, предпосылка развития художника-демократа.

«Дерзайте, будьте революционерами!» – этот призыв де Костера, это его кредо звучало в условиях Бельгии смело, дерзко, выделяя писателя из ряда тогдашних бельгийских писателей, над которыми тяготели осторожность, неуверенность и консерватизм. Оно было условием выхода писателя к дерзкой, революционной «Легенде об Уленшпигеле...», самому значительному произведению бельгийской литературы 1830–1867 годов.

В де Костере не только должен был созреть художник, как в каждом большом писателе любой страны, – зрелость де Костера означала бы созревание литературы Бельгии, робкой, ищущей в те годы, когда ей решился служить молодой Шарль де Костер, тогда еще казавшийся одним из многих. Видимо, не случайно затянулись годы становления, годы поисков – де Костеру надо было подняться над тем посредственным литературным уровнем, который для Бельгии представлялся нормой и неизбежностью. Де Костер был органически связан с литературным движением в Бельгии 40–60-х годов, он был членом тогдашних литературных кружков, активным сотрудником прессы, – и поднялся он к «Легенде об Уленшпигеле...», двигаясь в характерном для тогдашней бельгийской литературы направлении, с характерными для нее поисками и неудачами. Де Костера, его силу и его противоречивость, неровность невозможно понять, если забыть о бельгийской литературе того времени, ее уровне, ее возможностях – и о смелой, боевой, готовой к риску, к испытаниям позиции де Костера.

Первые стихи и прозаические опыты де Костера были прочитаны на собраниях «Весельчаков». В 1850 году в журнале «Бельгийское обозрение» первая публикация писателя – новелла «Мохаммед». Де Костер печатает стихи, пьесы, рассказы, статьи.

Де Костер присматривался тогда к авторитетам, писал то о своей любви к Шиллеру и «мечтательной» немецкой литературе, то к Мольеру, то к Ж. Санд, то к Гюго. Преимущественно симпатии де Костера относились к романтизму Германии и Франции – начинающему писателю бельгийская литература не могла тогда предоставить увлекательных образцов. Под влиянием романтиков был и демократизм раннего де Костера, его свободолюбие.

В 1861 году де Костер публикует сборник «Брабантские рассказы». Написаны они были ранее и непосредственно примыкают к начальному периоду творчества де Костера, замыкают собой этот период. Через семь составляющих сборник рассказов заметно пробивается тенденция, которая подвигала бельгийскую литературу в те годы к реализму. Некоторые из рассказов («Браф-пророк», «Христос», «Призраки») – это тоже «картинки», отражающие (как и произведения Леклерка, Консянса и др.) современные нравы. Часто в этих рассказах в контрастном противопоставлении нравственных принципов раскрыто различие социального положения героев. Таково сопоставление двух людей, претендовавших на руку Анны (в рассказе «Браф-пророк») – богатого и легкомысленного человека и небогатого, но по-настоящему любящего. Де Костер предпочитал строить повествование вокруг любовной интриги не только в силу ее традиционности, доступности, но и вследствие того, что она позволяла продемонстрировать те внутренние качества, которым особенное значение придавал писатель: в любви, в способности к ней как бы апробируется, добрым или злым, человеческим или бесчеловечным оказывается герой. Однако здесь давала себя знать и ограниченность де Костера: как и подавляющее большинство его современников в Бельгии, писатель не шел тогда дальше весьма трафаретных любовно-семейных ситуаций, отмеченных идилличностью и чрезмерной чувствительностью. Правда, известная специфика в этих ситуациях была. Особенно, может быть, интересно намечавшееся стремление де Костера отразить характерную бельгийскую проблематику. Это заметно в отборе деталей быта, в том, что часто подчеркиваются в героях «фламандские» черты.

Обычно де Костер рисовал фламандский тип как воплощение физической и духовной красоты, силы. Положительные герои де Костера уже тогда – дальние предшественники Тиля Уленшпигеля, «весельчаки», выше всего ставящие любовь, искусство. Показательно, что в новелле «Покорная просьба к комете», где люди делятся писателем на тех, кого следует покарать, и тех, кого надо пощадить, среди первых – человеконенавистники, лицемеры и т. п., а вторые те, кто не делает зла и кто любит вино, женщин, искусство. Особенно должно быть замечено, что эти вторые, по классификации де Костера, – народ и люди искусства («крестьяне, рабочие, художники, музыканты, поэты»). Именно в этих людях видел писатель те качества, которые были для него положительными и, кроме того, своеобразно «фламандскими». Таков герой рассказа «Христос» – талантливый ремесленник-художник, красивый («похожий на Христа»), добрый.

В «Брабантских рассказах» положительные и отрицательные качества не воплощены в достаточно индивидуализированных, типизированных образах, не раскрывались в характерных ситуациях. Довольно трафаретные любовные интриги сменялись анекдотическими ситуациями, почти сказочными историями. Писатель еще слишком прямолинеен и даже дидактичен, безусловно, еще очень идилличен – все хорошо кончается, побеждает добро, добродетель неизменно вознаграждается.

Социальные выводы де Костера острее выражались тогда в аллегорически-условной форме тех рассказов, в которых уже очевиден был блестящий юмор писателя, где созданы фарсовые ситуации, не лишенные сатирической остроты. Таковы прежде всего рассказы «Покорная просьба к комете», «Маски».

Противопоставляя злу добро, де Костер, как и многие его современники, тяготел к неиспорченным, естественным нравам, близким «чистой» природе, которая и в его сборнике играет роль романтического прибежища для переживших несчастья людей. Загадочен герой рассказа «Призраки», поселившийся среди крестьян после тяжкого удара (смерти любимой женщины). Этот человек – живописец и скрипач, он убежден, что «природа, – вот истинная книга поэта, вот что он должен в первую очередь полюбить и понять».

Сборник «Брабантские рассказы» – крайне неслаженный, разнотипный, разнохарактерный, как и весь начальный период творчества де Костера, когда писатель искал, примери-

вался. Показательно, однако, что по-разному, но очень настойчиво де Костер пытался воссоздать картины современных нравов, искал художественный идеал в сфере идеалов народных.

Первое по-настоящему оригинальное произведение де Костера – сборник «Фламандские легенды» (1858). Вышедший ранее «Брабантских рассказов», этот сборник писался почти одновременно с ними, но в большей части все же несколько позднее, в 1856–1857 годах, тогда как среди «Рассказов» есть относящиеся к 1854 году. «Фламандские легенды» вплотную подводят к «Легенде об Уленшпигеле...».

Прежде всего – это четыре легенды о прошлом. Люди далекого прошлого встают со страниц легенд де Костера значительно более живыми, чем современники в его рассказах. Писатель сумел проникнуть в их мировосприятие, передать атмосферу почти легендарного прошлого.

В первой легенде – «Братья упитанной рожи» – это языческое прошлое, когда ритуал поклонения божеству приобретает характер веселого обжорства, поклонения плоти, такого неумеренного и раздольного, что вспоминаются полотна старых фламандских мастеров, много раз рисовавших разгульные крестьянские кermессы и сочные натюрморты. Вторая легенда – «Бланш, Клер и Кандид» – по контрасту с первой рисует воплощенное благочестие, чистое духовное начало. Третья – «Сир Халевин» – рассказ о чудовищной злобе и жестокости человека, ставшего служителем дьявола на земле и буквально изводившего одну христианскую душу за другой. И, наконец, последняя легенда – «Сметс Смее» – социально окрашенная повесть о смелом, находчивом и веселом кузнеце-фламандце.

Сюжеты легенд де Костера не оригинальны, заимствованы из фольклора, из старинных книг. Но с каждой следующей легендой писатель все более «очеловечивает» повествование, делает его драматичнее; вместо условных фигур появляется характер. Де Костер словно бы приближается к современности, а повесть «Сметс Смее» уже близка книге о Тиле, которая, будучи обращена в прошлое, поражает своей жизненностью и актуальностью, своим реализмом. От легенды – к историческому роману: таков путь де Костера в десятилетие, отмеченное его лучшими произведениями.

«Фламандские легенды» написаны старофранцузским языком, тонко обработанным, очень искусно модернизированным и доступным без специального знания старофранцузского. Де Костер изучал средневековые хроники, художественную литературу средних веков и Возрождения. Он считал французский язык Средневековья «богачейшей палитрой», несравненным средством художественной характеристики и писал, что прибегает к нему «во имя правды». Старофранцузский язык не воспринимается в книге де Костера как мертвый, как искусственный, поскольку является средством раскрытия народного характера.

Де Костер возродил жанр легенды, наивного «сказа», где автор как бы сливается со своим героем в общем для них мировосприятии. Вместе с тем де Костер почти незаметным образом вводит в повествование то отношение к происходящему, которое характерно для современного человека, для писателя XIX столетия. Рассказы имеют ироническую окраску, придающую им своеобразное очарование, остроту и тонкость. Например, строго и торжественно говорится о подвигах трех благочестивых девственниц в легенде «Бланш, Клер и Кандид». Казалось бы, автор полностью слился со своими героинями, но ирония возникает как раз в силу контраста между нелепостью чудес и полной серьезностью, «убежденностью» повествователя в их истинности. В рассказе «Сир Халевин» жестокого убийцу, питавшего свою силу зверским умерщвлением юных девушек, карает бесстрашная и прекрасная Маггельт. Рассказчик торжественно славит ее подвиги, которые вместе с тем в точности напоминают рыцарские единоборства, хотя не рыцарь, а слабая девушка решается вызвать злодея на смертный бой.

Сильнейшего комического эффекта де Костер добивается в самой содержательной из легенд – «Сметс Смее». За душой кузнеца, некогда в трудную минуту продавшего ее дьяволу, приходят черти различных рангов. Чудесное, сверхъестественное здесь погружено в материальное, конкретно-чувственное, повседневное. Таков, например, монолог черта о том, сколь



различны по вкусу души разных людей и как просто, обыденно черти в аду поглощают эти грешные души. Кузнец обманывает всех чертей, в том числе и их короля: народная смекалка, мужество кузнеца оказываются сильнее, чем все дьявольские выдумки, все чудеса сверхъестественных сил.

В рассказе о кузнеце Сметсе де Костер ближе всего подошел к «Легенде об Уленшпигеле...». Есть основание предполагать, что «Сметс Смее» – первый набросок того, что позднее реализовалось в романе, так как работу над ним де Костер как раз и начал в конце 1850-х годов. «Сметс Смее» – единственный рассказ сборника, насыщенный богатейшим общественно-политическим содержанием. Сметс – уже не пассивный носитель добродетелей, жизнерадостности, доброты, красоты, как более ранние народные герои де Костера. Сметс – не только веселый и талантливый кузнец, но и свободомыслящий гёз. Богачи разоряют Сметса именно потому, что им приходилось слышать о нем как о гёзе, враге испанского короля и папы римского, стороннике реформированной церкви. Здесь впервые намечается конфликт, который станет центральным в «Легенде об Уленшпигеле...». Об Уленшпигеле напоминает и ненависть к угнетателям, которая особенно ощутима в конце рассказа, когда король чертей сливается в одном обличье с испанским королем Филиппом II. Обманув этого омерзительного, «вонючего короля», сопровождаемого тучей вшей, Сметс мстит ему за Фландрию, за всех обиженных, обкраденных, умерщвленных. Сметс и его помощники восклицают: «Пусть вечно живет Фландрия!» Тот же патриотический призыв зазвучит и в «Легенде о Тиле...»

Однако «Сметс Смее» – лишь первый набросок будущего великого произведения де Костера, над которым писатель работал десять лет. Для того чтобы Сметс смог превратиться в Тилу, необходимо было это десятилетие – время наибольшей общественной активности де Костера, когда развились и укрепились его демократические убеждения.

Де Костер был сотрудником журнала «Уленшпигель» с момента его возникновения в 1856 году. После 1860 года журнал стал воинствующим органом бельгийской демократии, объявившим войну «богам, святым, папам и королям». Этот резкий поворот в позиции журнала был обусловлен обострением политической борьбы в стране, наступлением католической реакции и, с другой стороны, укреплением демократических сил. Шарль де Костер был одним из самых деятельных и смелых сотрудников боевого «Уленшпигеля».

Публицистика де Костера – замечательная, недооцененная, к сожалению, страница его творческой биографии. И дело не только в том, что в публицистике де Костера чувствуется рука подлинного мастера, но и в том, что его статьи органически связаны с его художественным творчеством, с его «Легендой об Уленшпигеле...».

Статьи в журнале «Уленшпигель» писались от имени Уленшпигеля (подписывались псевдонимом «Карел»). Уленшпигель как бы беседовал с читателем. Более того, в публицистике возникал образ этого героя де Костера – и прежде всего благодаря речевой характеристике, благодаря эмоциональной, образной, иронической, саркастической речи, напоминающей о монологах Тили в романе.

В статьях де Костера заметно, насколько герой «Легенды об Уленшпигеле...» близок самому автору, насколько он выражает мысли и чувства создавшего его художника; у Карела Тили Уленшпигель судит не прошлое, как в романе, а прямо высказывается о настоящем.

Де Костер был отличным «международником». Можно позавидовать не только блеску, с которым он «подавал материал», но наблюдательности и проницательности его суждений. Он много писал о международном положении, о Европе, он мыслил широко, видел весь континент – в движении, в борьбе. Статьи де Костера создают точную картину предимпериалистической эпохи – великие державы на пороге столкновений, начало колонизации дальних стран, революционные бури...

По де Костеру, «старая Европа» «полна страха», она «тяжело больна», а «католицизм и монархизм убираются прочь» и так «низко пали», что «говорить неудобно».

Де Костер – решительный противник римско-католического папства – «с тех пор, как папство родилось, оно хорошо говорит, но делает плохие дела», проповедник в церкви старается во имя одного: «надеюсь, что я тронул ваши души – откройте мне ваши кошельки». А «Испания – это страна, которая во все времена наилучшим образом занималась уничтожением мавров, грабежом Индий и поджариванием еретиков; и все это во имя величия Бога и сохранения этого высокого института, который зовется правом наследования и божественным правом». Де Костер видит ярмо, которое надевают народам американские дельцы и европейские «цивилизаторы», грабящие Китай: англичане и французы «завладели летним дворцом Императора, который был ограблен и опустошен согласно нравам и обычаям просвещенных народов».

Вот как характеризовал современность де Костер в статье от 23 декабря 1860 года: «Каждый обеспокоен, в воздухе гроза, неизвестность, революция...»

«В воздухе революция» – такой казалась Европа де Костеру. Писатель приветствовал борьбу народов за освобождение в Италии, Австро-Венгрии, Ирландии, Польше. «Лютер, Кальвин, Эразм, Марникс, Вольтер, Жан Жак, люди 89 года, 93-го и 48 годов, – каждый посеял зерно; и вот повсюду дает о себе знать их расцвет и готовится к сбору урожай...» Подлинным героем для де Костера был Гарибальди. О нем он писал постоянно, им восхищался. Как защитник национальной свободы и независимости оценивал де Костер и положение дел в Бельгии. «Фламандцы, будем помнить, что валлоны – наши братья», – писал он. И постоянно повторял: «Мы хотим, чтобы каждый народ сохранял свой язык, свое местное наречие». Обращаясь к «старому миру», де Костер произносил пророческие слова: «Но вот поднимаются против вас народы, свобода, нестигаемая справедливость. Одно дуновение – и где прошлое? Я вижу на его месте лишь немного пыли, которая разносится ветром».

А между тем именно прошлому посвящено главное произведение Шарля де Костера, этого «эпического поэта свободы», как назвал его Ромен Роллан.

«Легенда о героических, забавных и славных приключениях Уленшпигеля и Ламме Гудзака во Фландрии и других странах» вышла в свет 31 декабря 1867 года.

«Народ умирает, если он не знает своего прошлого», – утверждал де Костер. В «Легенде об Уленшпигеле...» описываются события середины и второй половины XVI века, события Нидерландской революции. Центральным конфликтом романа становится борьба с испанскими угнетателями, с римской католической церковью. Точен де Костер и в описании отдельных знаменательных событий и фактов, в изображении исторических личностей – наряду с вымышленными в романе немало образов деятелей Нидерландской революции (Вильгельм Оранский, граф Эгмонт и др.) и ее врагов (Карл V, Филипп II). Отмечая действительные заслуги исторических личностей, де Костер осознает противоречия между имущими классами и народом, а подлинно революционную энергию видит в поднявшемся на борьбу крестьянстве и городской бедноте. Именно бедняки – истинные гёзы, в их руках судьба революции. Этим произведение де Костера существенно отличается от множества созданных в Бельгии исторических произведений, в которых Бельгия прошлого изображалась как единая семья патриотов, преграждающих путь оккупантам. Де Костер значительно точнее в характеристике социальной природы патриотизма, чем, например, Консьянс, в произведениях которого пособники захватчиков выглядели каким-то редким безнравственным исключением из общего для всех обитателей Бельгии правила – беззаветно служить родине.

Де Костер заботливо и точно воспроизводит в «Легенде об Уленшпигеле...» народные обычаи, верования, суеверия, праздники. Герои давно ушедшего времени выступают здесь в костюмах своей эпохи, во всем богатстве неповторимо-индивидуальных деталей быта и нравов. Язык, костюмы, обряды оказываются не театральным реквизитом, не мертвым музей-

ным достоянием, а живой характеристикой народа именно потому, что де Костер передал дух народа, его сущность, его общественно-историческую роль.

«Легенда об Уленшпигеле...» написана французским языком с очень частым употреблением фламандских слов, терминов, местных выражений и понятий. Две языковые стихии – французская и фламандская, сливаясь в романе, свидетельствуют о том, что де Костер ощущал себя не писателем Фландрии или Валлонии, а писателем Бельгии. Характерно, что самый крупный писатель в начале периода 1830–1867 годов Андре Ван Хассельт и замыкающий этот период Шарль де Костер стремились (каждый по-своему) воссоединить французский и фламандский языки, использовать в своем творчестве возможности и одного, и другого. Де Костер на практике доказал, что язык как важнейший элемент национальной формы не есть нечто застывшее, мертвое, консервативное, что возможности его поистине безграничны. «Легенда об Уленшпигеле...» во всем, включая и язык, опирается на неисчерпаемый и вечный источник народного творчества. Роман де Костера питался бесконечной мудростью и образностью народного языка, он насыщен афоризмами, поговорками, живой речью простолюдинов. Но де Костер строг в отборе и, следуя народу-языкотворцу, сам творит язык, изобретательно демонстрирует его новые возможности, его безграничную изобразительную силу.

Типические обстоятельства революционной эпохи, жизни и борьбы народа определяют созданные де Костером типические характеры, проявляются и выявляются в системе образов романа. Де Костер сам представил своих главных героев в виде определенной «системы», когда на первых же страницах книги устами «доброй колдуньи» Катлины заявил: «Клаас – это твое мужество, благородный народ Фландрии, Сооткин – твоя доблестная мать; Уленшпигель – твой дух; славная и милая девушка, спутница Уленшпигеля, подобно ему бессмертная, – твое сердце, а толстопузый Ламме Гудзак – твой желудок. И наверху кровопийцы народа, внизу – жертвы, наверху – разбойники – шершни, внизу – работающие пчелы, а в небесах будут кровью истекать раны Христовы».

Главный герой романа – Тиль Уленшпигель. Как известно, образ этот не вымышлен де Костером, но заимствован из обширной народной литературы Средневековья и Возрождения, в которой Тиль был одним из самых популярных героев. Сам де Костер признавался, что двадцать глав первой части представляют собой заимствование из одной фламандской книги о Тиле Уленшпигеле, в той или иной степени переработанное писателем. Фольклорный персонаж де Костер превратил в гёза, в революционера, создав образ народного героя революции XVI века. Это превращение определяет эволюцию Тиля Уленшпигеля в самом произведении. Роман де Костера подразделяется поэтому на две части, первую из которых составляет первая книга, а вторую – последующие четыре. В первой книге романа Тиль по сути своей близок героям других произведений о нем.

Тиль – дитя народа и его воплощение. Сын бедного угольщика, рожденный под покровительствующими ему лучами царя-солнца, шестью крещениями приобщенный к самой природе, к ее радостям и горестям, Тиль с раннего детства живет среди природы, среди народа (дома его «не дождутся»). Смышленный и находчивый, смелый и умелый, остроумный и озорной, Тиль кажется воплощением юности, здоровья, силы народа. Он отнюдь не аскетичен и далеко не ригорист. Он безграничен и всеобъемлющ, как сама жизнь, и, как в самой жизни, в нем все бесконечно талантливо. Тиль безудержно весел – де Костер считал особенностью своего народа «смех искренний, веселый, язвительный и тонкий». В веселых приключениях Тиля, героя первой книги, осмеиваются ханжество, лицемерие, скупость церковных святош и толстосумов. Озорство Тиля поэтому вовсе не бесцельно. Однако в его первых приключениях и путешествиях часто ощущается анекдотичность, характерная для плутовского романа и для средневекового антиклерикального фарса.

Первая книга – лишь введение, юность героя, а зрелость Тиля наступает при созерцании «несчастной земли», бесчисленных мук народа, причиненных церковью и королем Испании.

Зловещая концовка книги – казнь Клааса, смерть Сооткин – подготавливается с первых же ее страниц, когда наряду с рассказом о Тиле следует сопровождающий его, как мрачная, черная тень, рассказ о рождении и юности будущего короля Филиппа II. Однако почти до конца первой книги эти две линии параллельны, не пересекаются. Тиль пока остается вне тех созревающих в обществе взрывов и бурь, в которые он вовлекается после гибели близких, когда зловещая тень легла на Фландрию и на семью Клааса.

Вторая книга романа начинается с того, что «ранним сентябрьским утром... вышел в путь Уленшпигель по направлению к Антверпену искать Семерых». Вновь разворачивается серия различных приключений на пути вновь путешествующего героя. Однако перед читателем иной, зрелый Тиль. Он уже не только комичен – он трагичен. Это уже по существу иной образ. «Индивидуум стал типом, – заметил Р. Роллан в предисловии к „Легенде об Уленшпигеле...“, – он принадлежит определенному месту – Дамме из Фландрии, определенному времени – веку Палача, Филиппа II, и Молчаливого Оранского...».

В аллегорической сцене общения с духами Тиль приобщился к загадкам Вселенной, которые ему надлежит разгадать. Поиски Семерых – это познание сущности жизни. Мужество, энергия, находчивость Тиля стали теперь сознательно целенаправленными, его действия приобрели философски-социальный смысл. Тиль Уленшпигель, покидая дом, потому что «пепел Клааса стучит в его сердце», становится революционером, превращается в гёза, в активного деятеля революции XVI века. Тиль только теперь вырастает в могучую, почти символическую фигуру народного героя, воплощающего «дух Фландрии». Он ощутил себя ответственным за свою родину, почувствовал себя ее сыном, с болью воспринимающим все ее страдания.

Тиль путешествует не один – рядом с ним его верный друг Ламме, «желудок Фландрии», – законченный и превосходный образ. Однако Ламме сопутствует Тилю потому, что он неотделим от него: Ламме противоположность Тиля и часть его. Столь несхожие между собой Тиль и Ламме образуют нераздельную пару, подобную Дон Кихоту и Санчо у Сервантеса, Пантагрюэлю и Панургу у Рабле.

Когда Тиль благодарит солнце за то, что оно постоянно напоминает, сколь «благодословенны скитающиеся ради освобождения родины», Ламме хнычет: «есть хочу». Когда Ламме причитает: «Ох-ох, всего-всего я лишен, ни *dobbelbruinbier*, ни порядочной еды. В чем здесь наши радости?», – Уленшпигель говорит: «Проснись, фламандец, схватись за свой топор, не зная жалости: вот наши радости. Бей врага испанца и католика везде, где он попадется тебе. Забудь о своей жратве». С одной стороны, Ламме – антагонист Тиля, поскольку Тиль неизмеримо больше, чем «желудок», поскольку в Тиле бесконечное мужество и самоотречение, поскольку он «дух Фландрии», ее разум, ее ненависть. Но Ламме – и часть Тиля, так как, во-первых, и Ламме не просто «желудок». Он не только сопровождает Тиля – он, когда приходит час, сражается во имя свободы Фландрии, он тоже гёз. Словам Тиля, постоянно повторяющимся, звучащим, как клятва, как лозунг, – «пепел Клааса стучит в мое сердце» – сопутствует жалобное восклицание Ламме: «Где ты, жена моя?» Это созвучие столь разнородных на первый взгляд стремлений отличает, конечно, Тиля с его пылающей ненавистью от мягкосердечного, нежного «ягненка» – Ламме. Однако эти «рефрены» героев и дополняют друг друга, являются выражением глубокой человечности Тиля и Ламме. И если революционная целеустремленность Тиля увлекает сопутствующего ему Ламме, то бесконечная нежность Ламме звучит как необходимый аккомпанемент суровой клятве Тиля.

Ламме – часть Тиля еще и потому, что в нем выделены, гиперболизированы те качества, которые присущи Тилю. Ламме – «ягненок», но сколько нежности в Тиле, сколько самой возвышенной поэзии в любви Тиля и Неле. Неле – «сердце Фландрии», но и Тиль – ее сердце. С другой стороны, если Ламме – «желудок Фландрии», то ведь и в Тиле де Костер восславил здоровую, красивую плоть.

Вся книга де Костера с присущим ей озорным преувеличением здоровых appetitов народных героев проникнута раблезианским мироощущением. Ренессансное возвеличение человека, утверждение всех возможностей и проявлений его богатой и разносторонней натуры осуществлено прежде всего в образе Тиля, который высок духом, но и силен телом. Тиль не пройдет мимо ни одной хорошенькой девушки, писатель никогда не забывает указать, сыт или голоден герой, как он достает себе пищу и как расправляется с ней. Сцены пирушек в романе столь живописны, столь полнокровны, что заставляют вспоминать многие полотна классической фламандской живописи, как и удивительное мастерство де Костера-пейзажиста.

Образ «вкусного мира», красочно нарисованный де Костером, восприятие этого мира как «вкусного», сдобного, ядреного лежит в основе тропов романа: здесь нет прекрасней щечек, чем те, которые подобны помидору, а «сладкими устами» лакомятся, «как пчелка медом розы».

«Легенда об Уленшпигеле...» построена на резких контрастах и параллелизмах. К контрастным сопоставлениям положительного и отрицательного де Костер, впрочем, склонен был во всех своих произведениях, но ни в одном писатель не был столь последователен при создании контрастных образов, как в «Легенде об Уленшпигеле...». Очень часто единственной связью между главами является здесь сопоставление и противопоставление образов.

В основе контрастов в «Легенде об Уленшпигеле...» лежит четко очерченный общественный конфликт, непримиримость которого подчеркивается резкостью и остротой сопоставлений. Противопоставление семьи угольщика Клааса семье короля Карла, Тиля – Филиппу начинается в первых же главах книги. Сопоставление это идет под знаком противоположности жизни и смерти.

Тиль родился «в ясный майский день, когда распустились белые цветы боярышника», и появление его на свет приветствует солнце, которое «в багровом отблеске показало на востоке свой ослепительный лик». Когда же наступило время родов у королевы, Катлина наяву увидела: «Сегодня... привидения косили людей, как косари траву... Девушек заживо в землю зарывали!.. Палач плясал на их трупах... Камень потел кровью девять месяцев, – в эту ночь он лопнул...» Тиль крестили в дождевой воде и в луже – «инфант был крещен в белых пеленках – знак императорского траура». И далее полному жизни и силы Уленшпигелю противопоставлен Филипп как создание безжизненное и враждебное жизни. Он едва влачит свое «тощее тело на неустойчивых ногах», у него «все болит»; инфант наслаждался тем, что терзает животных – став королем, он будет терзать людей.

Тиль безгранично широк, как сама жизнь, – Филипп безумно узок, фанатичен, односторонен, почти призрачен.

Считая зло чем-то враждебным жизни, чем-то противоестественным, де Костер превращает его в болезнь, разрушающую человека. Одержимым, ненормальным становится благодаря своей злости, своей ненависти к живому Филипп II, «коронованный паук». Рыбник, предавший Клааса и Сооткин, буквально превращается из человека в волка, происходит даже физиологическая его трансформация: «чем дальше, тем больше я чувствовал желание жить волком, моей мечтой было кусаться». Патологичен и третий злодей, погубивший Катлину, – дворянин Иоос Дамман.

Контрастные образы зла и добра – проявление многозвучия, многогранности романа, органически присущей ему публицистичности. При переходах от одного образа к другому де Костер резко меняет тон повествования, мягкую добрую иронию сменяют сатира, гротеск; ясные, светлые тона вытесняются мрачными, зловещими. Публицистичность особенно очевидна к концу романа, к моменту наивысшего его напряжения, когда речь идет о решительных сражениях, когда настойчиво звучит призыв «Да здравствуют гёзы!». Изображающие события главы, замечательные своей живописностью, наглядностью, сменяются здесь главками, которые содержат не картины жизни, а словно запись летописца, отрывки исторической хроники, сопровождаемые страстной декламацией.

В этой части – как и в публицистике де Костера – голос писателя сливается с голосом его героя, и порою де Костер даже говорит от имени «нас». Обширные рассуждения и речи Тиля учащаются. Они усиливают публицистический, политически откровенный и призывный характер последних книг романа. Уленшпигель превращается в комментатора событий, агитатора, разъясняющего Ламме, гёзам, читателю суть того, что происходит, пытающегося воздействовать на них, вовлечь в борьбу – точно так же, как это делал Уленшпигель – де Костер на страницах журнала «Уленшпигель».

В заключительных книгах мышление героя образно, мысли и чувства воплощаются в картинах природы, в аллегорических сценах. Вот Тиль готовится отомстить рыбаку, убийце, потерявшему человеческий облик. В душе Тиля – буря ненависти, жажда мести, предельное напряжение. Все это становится ясным для читателя не из характеристики внутреннего состояния героя, но из обращения Тиля к черным тучам, грохочущему морю, завывающему ветру, из того, что «он не видел ничего, кроме черных туч, с безумной быстротой мчавшихся по небу, и приземистой, короткой, коренастой черной фигуры, приближавшейся к нему, и не слышал ничего, кроме жалобного завывания ветра, и бушующего моря, и скрипа усеянной ракушками тропинки под тяжелыми неровными шагами». Герой де Костера, безусловно, наделен творческим воображением, его мышление конкретно, образно, в сознании Тиля постоянно возникают живописные картины, он тонко чувствует природу. К концу романа обнаруживается, что Тиль – поэт и в тексте книги немало песен Тиля.

«Легенда об Уленшпигеле...» преимущественно состоит из небольших главок, каждая из которых относительно самостоятельна, напоминает отдельную новеллу, раскрывающую героя в том или ином происшествии, в той или иной истории. Главы-новеллы имеют свою композиционную завершенность, часто – свой «зачин», как правило, – свою концовку, вывод, соответствующее случаю назидание («так Уленшпигель научился балагурить ради выпивки», «так извлекает хитрец выгоду из чужой распри» и т. п.). Роман же близок циклу новелл, объединенных в одно целое. Можно заметить «швы» там, где «традиционный» Тиль сочетается с созданным де Костером образом гёза.

Шарль де Костер назвал свою книгу «легендой». Это и есть «легенда», но особенная, герои ее возвышаются до символа вечно юного, вечно живого народа. С этим связаны многие ее особенности. Прорицания, видения в романе не только передают наивные народные верования, но и выявляют аллегоричность романа. Не случайно ключевое место в его построении занимает чудесное общение Тиля с духами, побуждающее героя искать Семерых и подготавливающее к заключительным главам книги, где Тиль превращается из человека во плоти в неумирающий «дух» Фландрии.

Здесь очевидна связь с ранним творчеством самого де Костера. Однако если ранее романтические художественные средства порой доминировали, то ныне, в «Легенде об Уленшпигеле...», они вписываются в реалистическое произведение, основывающееся на принципе типизации общественного содержания эпохи, на отражении этого содержания в характере героя, в социально-психологическом типичном образе. Социально-историческая и национальная конкретизация среды, обстановки, героев, проникновение в сущность эпохи составляют главную особенность творческой эволюции де Костера – от первых рассказов к «Легенде об Уленшпигеле...» и от первой книги «Легенды» к последующим, где Тиль Уленшпигель – прежде всего Тиль – предстает как гиперболизированный, подлинно национальный характер, а сама книга с ее контрастностью, патетикой, гротеском, аллегорией, – как романтическая легенда.

В дальнейшем де Костер издал еще несколько рассказов, а в 1870 году – роман из современной жизни, «Свадебное путешествие», однако в истории литературы писатель остался автором одной книги, в которой запечатлена судьба Фландрии в трагический и одновременно геро-



ический период ее истории и герой которой явился олицетворением непобедимого народного духа.

После «Легенды об Уленшпигеле...» и до смерти 7 мая 1879 года, то есть в течение последних 12 лет жизни, де Костер, уже создавший «национальную библию», оставался столь же неизвестным и столь же бедным, как ранее. Материально поддерживала писателя мать. Безрезультатно добивался де Костер места библиотекаря в Гентском университете. Ему приходилось просить денег у правительства, чтобы расплатиться с долгами. Он умер, не дожив до 52 лет, и уже в этом возрасте, возрасте расцвета и зрелости для писателя, был «изнурен трудом, лишениями, заботами, болезнью».

*Л. Андреев*

## Легенда об Уленшпигеле и Ламме Гудзаке, об их доблестных, забавных и достославных деяниях во Фландрии и других краях

### Предисловие совы

Уважаемые художники, глубокоуважаемые издатели, уважаемый поэт! Я принуждена сделать несколько замечаний по поводу вашего первого издания. Как? Во всей этой толстой книге, в этом слоне, которого вы в количестве восемнадцати человек<sup>1</sup> пытались направить на путь славы, не нашлось хотя бы крошечного местечка для птицы Минервы<sup>2</sup>, для мудрой, для благоразумной совы? В Германии и в вашей же любимой Фландрии я постоянно путешествую на плече Уленшпигеля, который, кстати сказать, и прозван так потому, что имя его означает сову и зеркало, мудрое и забавное, *uyl en spiegel*. Жители Дамме<sup>3</sup>, где, как говорят, он родился, произносят *Ulen Spiegel* – тут действуют правило стяжения гласных и привычка произносить *uyl* как *и*. Это их дело.

Вы придумали другое объяснение: *Ulen* (вместо *Ulieden*) *Spiegel* – это, дескать, ваше зеркало, ваше, смерды и дворяне, управляемые и правящие, зеркало глупостей, нелепостей и преступлений целой эпохи. Остроумно, но опрометчиво. Никогда не следует порывать с традицией.

Быть может, вам показалась странной самая мысль представить мудрость в виде, по вашему мнению, мрачной и уродливой птицы – педантки в очках, ярмарочной лицедейки, подруги мрака, которая неслышно, как сама смерть, налетает и убивает. И все же, насмешники в обличье добродушия, у вас есть нечто общее со мной. И в вашей жизни была такая ночь, когда кровь текла рекой под ножом злодейства, тоже подкравшегося неслышно. Разве не было в жизни каждого из вас мглистых рассветов, тусклым лучом озарявших мостовые, заваленные трупами мужчин, женщин, детей? На чем основывается ваша политика с тех пор, как вы властвуете над миром? На резне и бойне.

Я, сова, безобразная сова, убиваю, чтобы прокормиться самой и чтобы прокормить моих птенцов, – убийством ради убийства я не занимаюсь. Вы обвиняете меня в том, что я иной раз уничтожаю птичий выводок, ну а вы истребляете все живущее. В своих книгах вы с умилением рассказываете о птичках – о том, как они быстрокрылы, как они красивы, как они любят, как искусно выют гнездышки, как тревожится мать за своих птенчиков, и тут же даете советы, под каким соусом надо подавать птичек и в какое время года они особенно вкусны. Я не сочинительница, упаси меня Бог, а то бы я про вас написала, что, когда вам не удастся сожрать птичку, вы грызете гнездышко – лишь бы поточить зубы.

Что же касается тебя, шалый поэт, то в твоих же интересах признать мое соавторство, – ведь по меньшей мере двадцать глав в твоём произведении принадлежат мне<sup>4</sup>, остальное я

---

<sup>1</sup> ...в количестве восемнадцати человек... – Издание «Легенды» 1869 г. иллюстрировали 18 художников.

<sup>2</sup> Птица Минервы. – В античной мифологии сова – птица богини Минервы, покровительницы ремесел, наук и искусств.

<sup>3</sup> Дамме – городок близ Брюгге (Фландрия).

<sup>4</sup> ...ведь по меньшей мере двадцать глав в твоём произведении принадлежат мне... – К этим словам в издании 1869 г. (где впервые появилось «Предисловие совы») сделано следующее примечание (написано де Костером, но названо «примечанием издателей»): «Это утверждение вполне верно. Поэт позаимствовал из небольшой фламандской книжечки... озаглавленной „Het aerdig leven van Thyl Ulen Spiegel“ („Земная жизнь Тиля Уленшпигеля“), главы 6, 13, 16, 19, 24, 35, 39, 41, 43, 47, 48, 49, 53, 55, 57, 59 и 60 первой книги своего сочинения. Номера глав, набранные здесь курсивом, обозначают, что главы эти – скорее создание автора, нежели пересказ. Впрочем, и все они подверглись значительной обработке, за исключением 62, 63 и

безоговорочно уступаю в твою пользу. Отвечать за все глупости, выпускаемые в свет, право, не так уж весело. Забияка-поэт, ты крушишь подряд всех, кого ты называешь душителями твоего отечества, ты пригвождаешь к позорному столбу истории Карла V<sup>5</sup> и Филиппа II<sup>6</sup>. Нет, ты не сова, ты неосторожен. Ты ручаешься, что Карлы Пятые и Филиппы Вторые перевелись на свете? Ты не боишься, что бдительная цензура усмотрит во чреве твоего слона намеки на знаменитых современников? Зачем ты тревожишь прах императора и короля? Зачем ты лаешь коронованных особ? Не напрашивайся на удары – от ударов же и погибнешь. Кое-кто тебе не простит этого лая, да и я не прощу – ты портишь мне мое мещанское пищеварение.

Ну к чему ты так настойчиво противопоставляешь ненавистного короля, с малолетства жестокого, – на то он и человек, – фламандскому народу, который ты стремишься изобразить доблестным, жизнерадостным, честным и трудолюбивым? Откуда ты взял, что народ был хорош, а король дурен? Мне ничего не стоит тебя разубедить. Твои главные действующие лица, все без исключения, либо дураки, либо сумасшедшие: озорник Уленшпигель с оружием в руках борется за свободу совести; его отец Клаас гибнет на костре за свои религиозные убеждения; его мать Сооткин умирает после страшных пыток, которые ей пришлось вынести из-за того, что она хотела уберечь для сына немного денег; Ламме Гудзак всегда идет прямым путем, как будто быть добрым и честным – это самое важное в жизни. Маленькая Неле хоть и недурна собой, а все же однолюбка... Ну где ты теперь встретишь таких людей? Право, если б ты не был смешон, я бы тебя пожалела.

Впрочем, должна сознаться, что наряду с этими сумасбродами ты вывел несколько лиц, которые пришлись мне по душе: это испанские вояки; монахи, жгущие народ; фискалка Жиллина; жадюга-рыбник, доносчик и оборотень; дворянчик, по ночам прикидывающийся бесом, чтобы соблазнить какую-нибудь дурочку, а главное, нуждавшийся в деньгах хитроумный Филипп II, подстроивший разгром церквей, чтобы потом наказать мятежников, которых он сам же сумел подстрекнуть. На что только не пойдет человек, если он объявлен наследником всех им убиваемых!

Но, кажется, я бросаю слова на ветер. Ты, может быть, не знаешь, что такое сова. Сейчас я тебе объясню.

---

64. Остальные – с главы 65 и до конца сочинения – полностью принадлежат г. Ш. де Костеру, как, следовательно, и книги II, III, IV, V, которые целиком созданы воображением автора. Мы должны, однако, указать на два исключения: 1) проповедь брата Корнелиса Адриансена (с. 250 и сл.) заимствована по частям из сборника 1590 г. Автору пришлось свести воедино несколько отрывков из речей этого необузданного проповедника, чтобы можно было, избежав беспрестанных повторений, правильно нарисовать картину разнообразия сект XVI в.; 2) рефрен „Песни гёзов“ (с. 288) заимствован из песни тех времен, изложение исторических событий, например, рассказ о погроме собора Богоматери в Антверпене (с. 260 и сл.) и „Песня о предателях“ (с. 526 и сл.) основаны в главнейших чертах: первый – на достоверном сообщении почтенного хрониста Ван Метерена; вторая – на источниках неоспоримой подлинности из Королевского архива в Брюсселе». Сборник «проповедей брата Корнелиса Адриансена» (которого Костер считал историческим лицом) – анонимный памфлет конца XVI в.; Ван Метерен (1535–1612) – автор капитального сочинения по истории Нидерландов, которым Костер широко пользовался.

<sup>5</sup> *Карл V*, Габсбург – германский император (1519–1556), король Испании (с 1516 г.) под именем Карла I. Благодаря династическим связям и завоеваниям под его властью на краткое время оказались объединенными Испания, Нидерланды, часть Италии, Германская империя, испанские колонии в Новом Свете и другие земли. Современники говорили, что в его владениях никогда не заходит солнце. Опираясь на реакционные силы Европы, Карл V стремился к созданию всемирной католической монархии. Подчиненная этой фантастической цели, политика его вызывала сопротивление и восстания в разных частях обширной державы. Проведший жизнь в войнах, но, несмотря на отдельные территориальные приобретения, не приблизившийся к осуществлению своих планов, Карл V в 1556 г. отрекся от престола.

<sup>6</sup> *Филипп II* – король Испании (1556–1598), сын Карла V. Правление Филиппа II было вершиной и началом упадка испанского абсолютизма. Внутренняя политика этого короля отмечена жестоким подавлением народных восстаний, уничтожением старинных местных привилегий, свирепыми преследованиями еретиков и инаковерующих, разгулом инквизиции. Во внешней политике Филипп II добивался подчинения всей Европы своему влиянию и вмешивался во внутренние дела других стран, поддерживая всюду силы католической реакции. После восстания в Нидерландах и поражения в войне с Англией (1588) крах испанской великодержавной политики стал очевиден.

Сова – это тот, кто исподтишка клеветает на людей, неугодных ему, и кто в случае, если его привлекают к ответственности, не преминет благоразумно заявить: «Я этого не утверждал. Так говорят...» Сам же он прекрасно знает, что «говорят» – это нечто неуловимое.

Сова любит соваться в почтенные семьи, ведет себя как жених, бросает тень на девушку, берет займы, иногда – без отдачи, а как скоро убеждается, что взять больше нечего, то исчезает бесследно.

Сова – это политик, который надевает на себя личину свободомыслия, неподкупности, человеколюбия и, улучив минутку, без всякого шума вонзает нож в спину какой-нибудь одной жертве, а то и целому народу.

Сова – это купец, который разбавляет вино водой, который торгует недоброкачественным товаром и, вместо того чтобы наплатить своих покупателей, вызывает у них расстройство желудка, вместо того чтобы привести их в благодушное настроение, только раздражает.

Сова – это тот, кто ловко ворует, так что за шиворот его не схватишь, кто защищает виноватых и обвиняет правых, кто пускает по миру вдову, грабит сироту и, подобно тому как другие купаются в крови, купается в роскоши.

Сова – это та, что торгует своими прелестями, развращает невинных юношей – это у нее называется «развивать» их – и, выманив у них все до последнего гроша, бросает их в том самом болоте, куда она же их и завлекла.

Если какой-нибудь сове кое-когда взгрустнется, если она вдруг вспомнит, что она – женщина, что и она могла бы быть матерью, то я от нее отрекаюсь. Если, устав от такой жизни, она бросается в воду, значит, она сумасшедшая, значит, ей и незачем жить на свете. Посмотри вокруг себя, поэт из захолустья, и ты увидишь, что сов на свете гибель. Сознайся, что неблагоприятно было с твоей стороны нападать на Силу и Коварство, на этих венчанных сов. Подумай о грехах своих, произнеси *mea culpa*<sup>7</sup> и на коленях вымоли прощение.

Мне, однако, нравится твоя легкомысленная доверчивость. Вот почему, изменяя своей всем известной привычке, я все же почитаю за нужное тебя предупредить – предупредить о том, что я поспешу указать на резкость и дерзость твоего слога моим литературным родичам, а это люди осмотнительные и исполнительные, сильные своими перьями, клювом и очками, умеющие придавать самую очаровательную, самую благопристойную форму тем любовным историям, которые они рассказывают юношеству и которые зародились отнюдь не только на острове Киферы<sup>8</sup>, умеющие в течение часа неслышно разогреть кровь у кого угодно, хоть у твердокаменной Агнессы<sup>9</sup>. О дерзновенный поэт, ты, что так любишь Рабле и старых мастеров! Эти люди имеют перед тобой то преимущество, что, шлифуя французский язык, они в конце концов сотрут его окончательно.

*Ухалус Посовиномус*

---

<sup>7</sup> Я согрешил (лат.).

<sup>8</sup> Кифера – древнее название одного из островов Греции, расположенного при входе в Лаконский залив. Кифера считалась родиной культа Афродиты, богини любви.

<sup>9</sup> Твердокаменная Агнесса – христианская мученица, жившая, по преданию, в III или IV в.

## Книга первая

### 1

Во Фландрии, в Дамме, когда май уже распускал лепестки на кустах боярышника, у Клааса родился сын Уленшпигель.

Повитуха Катлина завернула его в теплые пеленки и, осмотрев головку, показала на кожу.

– В сорочке родился, под счастливой звездой! – весело сказала она. Но тут же заохала, заметив на плече ребенка черное пятнышко. – Ай-ай-ай! – запричитала она. – Эта черная отметина – след чертова когтя.

– Стало быть, господин сатана нынче поднялся спозаранок, коли уже успел поставить на моем сыне метку, – молвил Клаас.

– Да он и не ложился, – подхватила Катлина, – певец зари только-только еще будит кур. С этими словами, передав младенца с рук на руки Клаасу, она удалилась.

Вслед за тем сквозь ночные облака пробилась заря, ласточки, щебеча, залетали низко-низко над лугом, и наконец на востоке солнце явило в море багрянца свой ослепительный лик.

Клаас растворил окно и сказал Уленшпигелю:

– Мой в сорочке родившийся сын! Вот его светлость солнце приветствует Фландрскую землю. Как прозреешь – погляди на него, а когда-нибудь потом, если тебя вдруг одолеют сомнения и ты не будешь знать, как поступить, спроси у него совета. Оно ясное и горячее. Будь же настолько чист сердцем, насколько ясно солнце, и настолько добр, насколько оно горячо.

– Клаас, муженек, ведь ты поучаешь глухого, – заметила Сооткин. – На-ка, попей, сынок.

С этими словами мать подставила новорожденному свои прекрасные естественные сосуды.

### 2

Пока Уленшпигель сосал ее грудь, в поле проснулись все пташки.

Клаас вязал хворост, а сам поглядывал, как его благоверная кормит Уленшпигеля.

– Жена, – сказал он наконец, – а что, молочка у тебя довольно?

– Кувшины полны, – отвечала она, – да вот радость-то моя не полна.

– Такой счастливый день, а ты пригорюнилась.

– Я вот о чем думаю: в кошеле у нас – вон он висит на стене – монетки какой заваливающей и той нет.

Клаас снял кошель, но как он его ни встряхивал, звона, услаждающего слух, в ответ так и не раздалось. Это озадачило Клааса. Но он все же счел своим долгом успокоить благоверную.

– Не тужи! – сказал он. – В ларе у нас лепешки, – вчера Катлина принесла, – так? Вон я вижу здоровенный кусок мяса – тут ребенку дня на три молочка хватит, – правда? В углу притулился мешок с бобами, он нам с голоду помереть не даст, – верно? А горшок с маслом померещился мне, что ли? А на чердаке у нас яблоки румяные в полном боевом порядке выложены десятками – ведь не во сне же я их видел? А бочонок брюгтского *kuyte*<sup>10</sup> – разве этот толстяк, у которого в брюхе живительная влага, не сулит нам гульбы?

---

<sup>10</sup> Сорт пива (флам.).

– Да ведь надо будет два патара священнику отдать да флорин<sup>11</sup> в церковь – за крестины, – сказала Сооткин.

Тут с большущей охапкой травы вошла Катлина и сказала:

– Для младенчика в сорочке я принесла дягиля – он хранит человека от распутства – и укропа – укроп сатану отгоняет...

– А травы, что привораживает флорины, ты не принесла? – спросил Клаас.

– Нет, – отвечала та.

– Ну так я пойду погляжу, нет ли ее в канале.

Клаас взял удочку, сеть и вышел из дому в полной уверенности, что никого по дороге не встретит: ведь до *oosterzon'a*<sup>12</sup> – так во Фландрии называется шестой час утра – оставался еще целый час.

### 3

Клаас подошел к Брюггскому каналу, неподалеку от моря. Наживив удочку, он забросил ее в воду и закинул сеть. На том берегу нарядный мальчуган спал как убитый на холмике из ракушек.

Клаас нечаянно разбудил мальчугана, и тот, вообразив, что это стражник, что он сейчас поднимет его с ложа и как бродягу отведет в *steen*<sup>13</sup>, чуть было не задал стрелкача.

Однако, узнав Клааса, мальчик быстро успокоился, а Клаас крикнул ему:

– Хочешь заработать шесть лиаров<sup>14</sup>? Гони рыбу ко мне.

Мальчуган, уже довольно пузатенький, вошел в воду и, вооружившись стеблем камыша с пышной метелкой, стал гнать рыбу по направлению к Клаасу.

Наловив рыбы, Клаас взял удочку и сеть и перешел через шлюз к мальчугану.

– Ведь это тебе дали при крещении имя Ламме и прозвали Гудзаком<sup>15</sup> за твоё добродушие, а живешь ты на Цапельной улице за собором Богоматери? – спросил он. – Как же это ты, такой маленький и такой нарядный мальчик, спишь под открытым небом?

– Ах, господин угольщик! – отвечал мальчуган. – Дома у меня сестра; она моложе меня на год, но когда мы с ней ссоримся, она меня лупит по чему ни попало. Отыгаться на ее спине я, сударь, боюсь – как бы не сделать ей больно. Вчера вечером мне очень хотелось есть, за ужином я стал подчищать пальцами блюдо, на котором было подано тушеное мясо с бобами, и, глядя на меня, она тоже к нему потянулась. А там мне и одному-то было мало, сударь. Как увидела она, что я облизываюсь, – уж больно вкусная была подливка, – ну прямо взбесилась: таких мне увесистых оплеух надавала, что я, еле живой, бросился вон из дома.

Клаас осведомился, что же делали отец и мать в то время, как сестра хлестала его по щекам.

На это Ламме ответил так:

– Отец похлопал меня по одному плечу, мать по другому, и оба сказали: «Дай ей сдачи, трусишка!» А я не хотел бить маленькую девочку и убежал.

Внезапно он побледнел и задрожал всем телом.

И тут Клаас увидел, что к ним приближается высокая женщина, а с ней худая девочка, и лицо у этой девочки злое.

---

<sup>11</sup> *Патар* – мелкая монета; *флорин* – крупная золотая монета.

<sup>12</sup> Буквально: солнце на востоке (*флам.*).

<sup>13</sup> Буквально: камень, каменное строение; здесь: тюрьма (*флам.*).

<sup>14</sup> *Лиар* – мелкая монета.

<sup>15</sup> *Гудзак* (*Goedzak*) – по-фламандски означает «мешок доброты». Имя Ламме (*Lamme*) – по-фламандски – «ягненок».



– Ай! – крикнул Ламме и уцепился за штаны Клааса. – Это мать и сестра меня ищут. Заступитесь за меня, господин угольщик!

– Вот что, – сказал Клаас, – возьми сперва семь лиаров за работу, а теперь смело пойдем к ним навстречу.

Увидев Ламме, мать и сестра бросились на него с кулаками: мать – от беспокойства, сестра – по привычке.

Ламме спрятался за Клааса и крикнул:

– Я заработал семь лиаров, я заработал семь лиаров, не бейте меня!

Но мать уже обнимала его, а девчонка пыталась разжать ему кулак и отнять деньги.

Ламме кричал:

– Мои деньги, не дам!

И еще крепче сжимал кулак.

Клаас за уши оттащил от него девчонку и сказал ей:

– Брат у тебя добрый и кроткий, как ягненок, и если ты еще когда-нибудь на него нале-  
тишь, я тебе уши драть не стану, а упрячу в черную угольную яму; за тобой туда придет крас-  
ный черт из пекла и своими когтищами и зубами, длинными, как рогатки, раздерет тебя на  
мелкие кусочки.

Девчонка не смела поднять глаза на Клааса, не смела подойти к брату – она схоронилась  
за материнскую юбку. Но в городе она сейчас же подняла крик:

– Угольщик меня побил! У него в погребе черт!

Однако больше она уже не била брата – она только заставляла его все за нее делать.  
Безответный простачок охотно ей повиновался.

А Клаас отнес рыбу в ту усадьбу, где у него всегда ее покупали. Дома он сказал Сооткин:

– Вот что я нашел в брюхе у четырех щук, у девяти карпов и в полной корзине угрей.

С этими словами он бросил на стол два флорина и патар.

– Почему же ты каждый день не ходишь на рыбную ловлю, муженек? – спросила Сооткин.

– А чтобы самому не попасться в сеть к стражникам, – отвечал Клаас.

## 4

В Дамме отца Уленшпигеля Клааса все звали *kooldraeger*’ом, то есть угольщиком. Волосы  
у него были черные, глаза – блестящие, кожа – под цвет его товара, за исключением воскресных  
и праздничных дней, когда мыла у него в лачуге полагалось не жалеть. Это был приземистый,  
плечистый здоровяк с веселыми глазами.

Когда, на склоне дня и с наступлением вечера, он отправлялся по Брюгтской дороге в  
таверну промывать пивцом свою черную от угольной пыли глотку, женщины, на порогах домов  
дышавшие свежим воздухом, приветствовали его:

– Добрый вечер, угольщик! Светлого тебе пива!

– Добрый вечер! Неутомимого вам супруга! – отзывался Клаас.

Девушки, гурьбой возвращавшиеся с поля, загораживали ему дорогу и говорили:

– Что дашь за пропуск? Алую ленту, золотые сережки, бархатные сапожки или флорины  
в копилку?

Клаас обнимал какую-нибудь из них, целовал – иногда в свежую щечку, иногда в шейку,  
в зависимости от того, что было ближе к его губам, – а потом говорил:

– Остальное, душеньки, дополучите со своих возлюбленных.

И девушки с хохотом убегали.

Дети узнавали Клааса по его громкому голосу и топоту сапог. Они бросались к нему с  
криком:

– Добрый вечер, угольщик!

– Храни вас Господь, ангелочки! – говорил Клаас. – Только не подходите ко мне близко, иначе я вас в арапчат превращу.

Но малыши – народ смелый: они все-таки подходили; тогда Клаас хватал одного из них за курточку и проводил своей черной пятерней по его румяной мордашке, а затем, к великой радости остальных, отпускал и сам при этом заливался хохотом.

Сооткин, супружница Клааса, была женщина хорошая: вставала вместе с солнышком и трудилась, как муравей.

Свой участок они обрабатывали вдвоем с Клаасом, оба впрягались в плуг, точно волы. Нелегко им было тащить плуг, но еще тяжелее – борону, когда деревянные зубья этого земледельческого орудия разрыхляли сухую землю. И все же работали они весело, с песней на устах.

И как ни суха была земля, как ни жгло их палящими лучами солнце, как ни выбивались они из сил, таща борону, и как ни подгибались у них колени, а во время роздыха Сооткин подставляла Клаасу милое свое лицо, Клаас целовал это зеркало ее нежной души, и оба они забывали о своей страшной усталости.

## 5

Накануне у дверей ратуши возглашали, что государыня, супруга императора Карла, на сносях, а потому все должны молиться, чтобы она благополучно разрешилась от бремени.

К Клаасу, вся дрожа, вбежала Катлина.

– Что с тобой, соседка? – спросил он.

– Ох! – простонала Катлина и прерывающимся от волнения голосом заговорила: – Нынче ночью привидения косили людей, точно косари траву... Девушек заживо в землю закапывали! На их трупах палач плясал... Камень девять месяцев кровоточил, а нынче ночью распался.

– С нами крестная сила, с нами крестная сила! – запричитала Сооткин. – Недоброе сулят Фландрии этакие страсти!

– Во сне ты все это видела или наяву? – спросил Клаас.

– Наяву, – отвечала Катлина.

Бледная как смерть, она продолжала, рыдая:

– Два младенца народилось: один – в Испании, инфант Филипп, а другой – во Фландрии, сын Клааса, ему потом дадут прозвище Уленшпигель. Филипп станет палачом, потому он – отродье Карла Пятого, а Карл Пятый – нашего отчего края губитель. Из Уленшпигеля выйдет великий балагур и великий проказник, но сердце у него будет доброе, потому как он сын Клааса, а Клаас, труженик славный и исправный, честным, добросовестным, праведным трудом добывает хлеб свой. Император Карл и король Филипп промчатся по жизни, всем досаждая войнами, поборами и прочими злодеяниями. Клаас – тот рук не покладает, права-законы соблюдает, трудится хоть и до поту, да без ропоту, никогда не унывает, песни распевает – того ради он послужит примером честного фламандского труженика. Вечно юный Уленшпигель никогда не умрет, по всему свету пройдет, ни в одном месте прочно не осев. Кем-кем он только не будет: и крестьянином, и дворянином, и ваятелем, и живописцем! И странствовать ему по белу свету, славя все доброе и прекрасное, а над глупостью хохоча до упаду. Доблестный народ фламандский! Клаас – это твое мужество; Сооткин – это твоя стойкая мать; Уленшпигель – это твой дух; славная, милая девочка, спутница Уленшпигеля, бессмертная, как и он, – это твое сердце, а толстопузый простак Ламме Гудзак – это твоя утроба. Наверху – душители народа, внизу – жертвы; наверху – разбойники-шершни, внизу – трудолюбивые пчелы, а в небе будут кровоточить язвы Христовы.

И, сказавши это, добрая ведунья Катлина уснула.

## 6

Уленшпигеля понесли крестить. Вдруг хлынул ливень и вымочил его до костей. Так Уленшпигель был окрещен в первый раз.

Когда его внесли в церковь, пономарь, он же *schoolmeester*, то есть школьный учитель, сказал куму с кумой и отцу с матерью, чтобы они стали вокруг купели, что те и сделали.

Но в своде над купелью каменщик пробил дыру, чтобы к звезде из позолоченного дерева привесить лампаду. Увидев сверху кума с кумой, чинно стоявших возле еще прикрытой купели, злодей-каменщик вылил на крышку ведро воды и всех обрызгал. Особенно лихо окатил он Уленшпигеля. Так Уленшпигель был окрещен во второй раз.

Явился настоятель. Выслушав жалобу, он сказал, что ему некогда с ними разговаривать и что каменщик облил их нечаянно. Уленшпигель барахтался, оттого что был весь мокрый. Настоятель, окрестив его солью и водой, дал ему имя Тильберт, что значит «подвижный». Так Уленшпигель был окрещен в третий раз.

Выйдя из собора, они перешли площадь и двинулись по Долгой улице в «Бутылочные Четки» – трактир, эмблемой которого служила пивная кружка. Здесь они выпили семнадцать с лишним кружек *dobbelkuyt*<sup>16</sup>. Если во Фландрии кто-нибудь хочет получше обсушиться, то разводит у себя в пузе пивной костер. Так Уленшпигель был окрещен в четвертый раз.

Выписывая по дороге домой вензеля, оттого что головы у них были тяжелее тела, они подошли к мостику через лужу. Ребенка несла кума Катлина – она оступилась и вместе с ним шлепнулась в грязь. Так Уленшпигель был окрещен в пятый раз.

Его вытащили из лужи, обмыли дома теплой водой, и то было его шестое крещение.

## 7

В тот же самый день его святейшее величество Карл решил по случаю рождения своего сына устроить пышные празднества. Подобно Клаасу, он тоже решил половить рыбку – но не в канале, а в копилках и кошельках у своих подданных. Вот откуда государевы удочки вылавливают крузаты<sup>17</sup>, серебряные *daelder*'ы<sup>18</sup>, червонцы, и все эти чудесные рыбки по прихоти рыбака превращаются в бархатные платья, в драгоценности, в тонкие вина, в изысканные блюда. Кстати сказать, самые рыбные реки – не самые многоводные.

Послушав своих советников, его святейшее величество установил такой порядок ловли:

Между девятью и десятью его высочество инфанта понесут крестить. Жители Вальядолида, дабы показать, как они счастливы, будут всю ночь на свой счет пировать и веселиться и швырять на Большой площади беднякам свои кровные денежки.

На пяти перекрестках пять больших фонтанов будут за счет города бить до рассвета мощной струей самого лучшего вина. На пяти других перекрестках будут развешаны на деревянных помостах колбаса сервелатная, колбаса ливерная, бычьи языки и всякая прочая снедь – также за счет города.

Вальядолидцы на свои средства воздвигнут по пути следования процессии множество триумфальных арок с эмблемами Мира, Благоденствия, Изобилия, Процветания, а равно и прочих небесных благ, коими щедрен народ в царствование его святейшего величества.

Наконец, помимо этих мирных арок, будет сооружено еще несколько, на которых необычайно живо будут изображены менее безобидные атрибуты власти, как-то: орлы, львы, копыя,

---

<sup>16</sup> Сорт крепкого пива (флам.).

<sup>17</sup> Крузат – старинная голландская монета.

<sup>18</sup> Старинная голландская монета, полтора гульдена. – Здесь и далее примеч. пер.

алебарды, дротики с наконечниками в виде языков пламени, пищали, пушки, фальконеты, широкожерлые мортиры и прочие орудия, олицетворяющие военную силу и мощь его святейшего величества.

Гильдии свечников было предоставлено право бесплатно изготовить для освещения храма двадцать тысяч с лишним свечей, с тем чтобы огарки поступили в распоряжение капитула.<sup>19</sup>

Что касается прочих расходов, то император, движимый благим желанием не переобременять верных своих подданных, охотно брал эти расходы на себя.

Община уже начала приводить королевский приказ в исполнение, как вдруг из Рима пришли печальные вести. Императорские военачальники<sup>20</sup> – принц Оранский<sup>21</sup>, герцог Алансонский<sup>22</sup> и Фрундсберг<sup>23</sup> – ворвались в святой град и, не щадя ни священников, ни монахов, ни женщин, ни детей, разорили и опустошили церкви, часовни, дома. Святейшего владыку заточили<sup>24</sup>. Грабеж длился уже целую неделю. Обожравшиеся, упившиеся рейтары и ландскнехты<sup>25</sup>, бряцая оружием, шатались по городу, искали кардиналов и кричали, что они им лишнее отрежут и тогда уж, дескать, папой никому из них не бывать<sup>26</sup>. Те, кто привел угрозу свою в исполнение, с важным видом расхаживали по городу, и на шее у них висели четки по двадцать восемь, а то и более бусинок, каждая величиной с орех, и все до одной в крови. Иные улицы превратились в потоки крови, запруженные дочиста обобранными мертвыми телами.

Поговаривали, что император, нуждаясь в деньгах, вознамерился половить их в крови духовенства, и точно: по договору, заключенному его полководцами со святейшим узником, он отнял у него все крепости и заставил уплатить четыреста тысяч дукатов; впредь же до выполнения всех условий договора его святейшеству надлежало пребывать в заключении.

Со всем тем его величество тяжело скорбел и по сему обстоятельству отменил все торжества<sup>27</sup>, празднества, увеселения и приказал вельможам своим и придворным дамам облечься в траур.

<sup>19</sup> *Капитул* – в католической церкви коллегия духовных лиц (каноников) кафедрального собора, составлявшая при епископе совет с административными и судебными полномочиями. Капитулами назывались также коллегии духовных лиц других крупных храмов.

<sup>20</sup> *Императорские военачальники... ворвались в святой град...* – В мае 1527 г. Рим был взят и разграблен войсками Карла V, которого сложная династическая и военная борьба привела к столкновению с папой Климентом VII, поддерживавшим французского короля Франциска I. Поход на Рим был предпринят во время перемирия с папой, по инициативе вышедших из повиновения солдат, но одобрен Карлом V. И Карл, и еще более фанатичный Филипп II не раз оказывались во враждебных отношениях с главой католической церкви.

<sup>21</sup> *Принц Оранский* – здесь не Вильгельм, один из героев романа Костера, а Филибер (1502–1530), полководец, перешедший от Франциска I к его врагу Карлу V, который одарил его владениями в Нидерландах. Участвовал во взятии Рима в 1527 г. и после гибели герцога Бурбонского был избран солдатами главнокомандующим. После смерти Филибера титул принца Оранского перешел к брату его жены Рене Нассау-Шалонскому, двоюродному брату Вильгельма.

<sup>22</sup> *Герцог Алансонский*. – По-видимому, Костер по ошибке называет герцогом Алансонским герцога Бурбонского (1490–1527), бывшего главнокомандующим у Франциска I и переметнувшегося к Карлу V. Он в 1525 г. разбил французов при Павии, в 1527 г. возглавил императорское войско, шедшее на Рим, и был убит при штурме города.

<sup>23</sup> *Фрундсберг*, Георг фон (1473–1528) – немецкий полководец. В 1527 г. стоял во главе одиннадцатитысячной армии, полученной Карлом V от немецких протестантов, с которыми император временно примирился, рассчитывая на их помощь в войне с папой. Фрундсберг со своей армией принял участие в военных действиях на территории Италии.

<sup>24</sup> *Святейшего владыку заточили*. – После вторжения войск Карла V в Рим папа Климент VII еще около месяца сопротивлялся, запершись в своей крепости – замке Святого Ангела, но был вынужден капитулировать. Карл не торопился вырывать папу, и он до осени оставался пленником в руках солдат. Это не помешало папе вскоре примириться с Карлом и в 1530 г. самому короновать его императорской короной.

<sup>25</sup> *Рейтары* – наемная кавалерия, появившаяся в XVI в. на смену конным рыцарям, сражавшимся в одиночку. *Ландскнехты* – немецкие наемные войска (пехота), в XVI в. служившие и за пределами Германии.

<sup>26</sup> *...и тогда... папой никому из них не бывать*. – Скопец не мог быть избран папой.

<sup>27</sup> *...отменил все торжества...* – Взятие Рима солдатами Карла, среди которых (особенно среди немецких наемников) было много протестантов, и разгром города, сопровождавшийся грабежом церквей и другими кощунствами, произвели тяжелое впечатление в Испании. Чтобы как-то сгладить его и выразить свое сожаление, Карл отменил празднества по случаю рождения сына. Однако он не спешил урегулировать отношения с захваченным в плен папой и ничего не сделал, чтобы прекратить

И наследного принца понесли крестить в белых пеленках, что есть знак королевского траура.

Вельможи и придворные дамы решили, что это не к добру.

Все же госпожа кормилица почла за должное показать инфанта вельможам и придворным дамам, дабы они высказали ему свои пожелания и сделали подарки.

Сеньора де ла Сена повесила ему на шею предохраняющий от яда черный камень, по форме и величине напоминавший орех в золотой скорлупке. Госпожа де Шоффад повязала ему на животик шелковинку, а к ней подвесила лесной орех, что содействует пищеварению. Господин ван дер Стин из Фландрии преподнес ему гентскую колбасу в пять локтей длиной и в пол-локтя толщиной, всеподданнейше пожелав его высочеству, чтобы один запах этой колбасы возбуждал в нем охоту к гентскому *clauwaerf*<sup>28</sup>: кто, дескать, любит пиво какого-либо города, тот не может питать неприязнь к тамошним пивоварам. Господин конюший, Хайме Кристоаль Кастильский, подарил его высочеству два кусочка зеленой яшмы и высказал пожелание, чтобы тот носил их на своих прелестных ножках, – от этого, мол, он будет быстрее бегать. При сем присутствовавший шут Ян де Папе сказал:

– Вы бы лучше, сударь, подарили ему трубу Иисуса Навина<sup>29</sup>, чтобы при одном ее звуке от него без оглядки бежали целые города со всеми своими обитателями – мужчинами, женщинами и детьми – и располагались на новом месте. Его высочеству не для чего учиться бегать – ему надо уметь обращаться в бегство других.

Неутешная вдова Флориса ван Борселе, который был губернатором Веере в Зеландии, подарила наследнику Филиппу камешек, от которого, как она выразилась, мужчины влюбляются, а женщины сохнут.

Но младенец ревел, как теленок.

Тем временем Клаас вложил в ручки сыну сплетенную из ивовых прутьев погремушку с бубенчиками и стал подкидывать его на ладони, приговаривая:

– Дилинь-дилинь, бубенчики! Носи их на колпачке, человечек! Шутам всегда хорошо живется.

И Уленшпигель смеялся.

## 8

Клаас поймал большого лосося, и в воскресенье Клаас, Сооткин, Катлина и маленький Уленшпигель его съели, но только Катлина ела как птичка.

– Кума, – сказал ей Клаас, – разве воздух Фландрии стал до того густ, что тебе достаточно им подышать – и ты уже сыта, точно мяса наелась? Вот бы всем так! Дождь заменял бы похлебку, град – бобы, снег превратился бы в дивное жаркое, и усталые путники замаривали бы им червячка.

Катлина кивнула головой, но в ответ не проронила ни слова.

– Ах ты, бедная кума! – сказал Клаас. – Что ты так закручинилась?

Тут Катлина заговорила, но голос ее звучал глухо.

– Лукавый! – сказала она. – Темная ложится ночь... Чую: он близко... клекочет орлом... Вся дрожа, молюсь Пречистой Деве – напрасно... Нет для него ни стен, ни оград, ни окон, ни дверей. Всюду проникает, как дух... Я сплю на чердаке... Вот заскрипела лестница, вот он уже подле меня. Обхватил крепкими холодными, как мрамор, руками... Лдяный лик, поцелуй влажные, как снег... Пол колышется, словно челн в бурном море.

---

бесчинства и насилие своих солдат.

<sup>28</sup> Сорт пива (флам.).

<sup>29</sup> Труба Иисуса Навина. – Согласно Библии, стены города Иерихона, осажденного Иисусом Навином, рухнули от звука труб.

– Ходи каждый день в церковь, – молвил Клаас, – и Господь наш Иисус Христос отгонит от тебя духа из преисподней.

– А до чего ж он красив! – сказала Катлина.

## 9

Уленшпигеля отняли от груди, и он рос, как тополе.

Клаас уже не так часто целовал сына – чтоб не избаловать малыша, он, любя его, напускал на себя строгость.

Если Уленшпигель, придя домой, жаловался, что его избили, Клаас давал ему еще коло-тушку за то, что он не отколотил других, и при таком воспитании Уленшпигель стал настоящим львенком.

Если отца не было дома, Уленшпигель просил у матери лиар на игру.

– Что еще за игры? – ворчала Сооткин. – Сиди дома да вяжи вязанки.

Видя, что дело его не выгорело, Уленшпигель поднимал крик на весь дом, но Сооткин, притворяясь, что ничего не слышит, продолжала перемывать в лохани горшки и миски и отчаянно ими гремела. Уленшпигель – в слезы; тогда нежная мамаша, сбросив личину строгости, подходила к нему, гладила по головке и спрашивала:

– Хватит с тебя денье?

Надобно вам знать, что в денье целых шесть лиаров.

Мать боготворила Уленшпигеля, и когда Клааса не было дома, он делал что хотел.

## 10

Однажды утром Сооткин обратила внимание, что Клаас задумчиво и понуро ходит из угла в угол по кухне.

– Что, муженек, голову повесил? – спросила она. – Ты бледен, угрюм и рассеян.

Клаас зарычал, как собака:

– Собираются восстановить свирепые королевские указы<sup>30</sup>. Снова смерть пойдет гулять по Фландрской земле. Доносчики станут получать половину имущества своих жертв в том случае, если его стоимость не превышает ста флоринов.

– Мы с тобой люди бедные, – заметила Сооткин.

– Для наушников недостаточно бедные, – возразил Клаас. – Злые коршуны и вороны, что питаются мертвечиной, и на нас с тобой донесут: они и корзиной угля не побрезгуют и разделят его с государем не менее охотно, чем мешок с флоринами. Какое такое богатство было у несчастной Таннекен, вдовы портного Сиса, которую в Хейсте живьем закопали в землю? Латинская Библия, три золотых да кое-какая утварь из английского олова, на которую позарилась ее соседка. Иоанну Мартене сожгли как ведьму, но только сперва бросили в воду, а она не тонула, ну, значит – колдунья. У нее была ветхая рухлядишка да семь золотых – доносчик польстился на половину. Э-эх! Всего не перескажешь. Словом, женушка, давай-ка загодя отсюда подбру-поздорову – после этих указов совсем житья во Фландрии не станет. Скоро каждую ночь будет ездить в колеснице по городу смерть, и мы услышим сухой стук ее костей.

– Не пугай меня, муженек, – молвила Сооткин. – Император – отец Фландрии и Брабанта, а отец долготерпелив, кроток, снисходителен и милосерд.

– Он бы на этом много потерял, – заметил Клаас, – ведь отобранное имущество отходит к нему.

---

<sup>30</sup> *Собираются восстановить свирепые королевские указы.* – Начиная с 1521 г. Карл V начал издавать указы против еретиков. Здесь излагается так называемый Кровавый указ 1550 г. (издан несколько позже того времени, о котором идет речь).



Тут внезапно затрубила труба, загремели литавры глашатая. Клаас и Сооткин, поминутно передавая друг другу Уленшпигеля, побежали вслед за толпой.

Перед ратушей конные глашатаи трубили в трубы и били в литавры, тут же находился профос<sup>31</sup> с жезлом, а прокурор, верхом на коне, держал обеими руками указ императора и собирался прочитать его народу.

Клаас услышал, что отныне всем и каждому возбраняется печатать, читать, хранить и распространять писания, книги и учения Мартина Лютера, Иоанна Виклифа, Яна Гуса, Марсилия Падуанского, Эколампадия, Ульриха Цвингли, Филиппа Меланхтона, Франциска Ламберта, Иоанна Померана, Отто Брунсельсия, Юста Ионаса, Иоанна Пупериса и Горциана, а равно и Новый Завет, изданный Адрианом де Бергесом, Христофом да Ремонда и Иоанном Целем<sup>32</sup>, каковые издания полны Лютеровой и прочих ересей, за что богословский факультет Лувенского университета<sup>33</sup> осудил их и запретил.

«Равным образом возбраняется кощунственно писать и изображать или же заказывать кощунственные картины и изваяния Господа Бога, присноблаженной Девы Марии и святых угодников, равно как разбивать, рвать или же стирать картины и изваяния, напоминающие нам о Боге, о Деве Марии и о тех, кого церковь причислила к лику святых, служащие к их возвеличению и прославлению».

«Кроме того, – говорилось в указе, – всем подданным, независимо от их звания, возбраняется рассуждать и спорить о Священном Писании<sup>34</sup>, а равно и толковать в нем неясные места, – всем, за исключением признанных богословов, получивших на то соизволение от какого-либо знаменитого университета».

Находившихся на подозрении его святейшее величество навсегда лишал права заниматься честным трудом. Лица же, вновь впавшие в ересь или же закосневшие в таковой, подлежали сожжению, а какому именно: на медленном или на быстром огне, на костре из соломы или у столба – это уже оставлялось на усмотрение судьи. За прочие преступления мужчины, если они дворяне или почетные граждане, подлежали мечному сечению, крестьяне – повешению, а для женщин предусматривалось закапывание в землю живьем. Головы казненных в назидание надлежало выставлять на шестах. Их достояние в том случае, если оно находилось в землях, подвластных императору, отчуждалось в его пользу.

Доносчикам его святейшее величество выделял половину всего принадлежавшего казненным в том случае, если ценность их имущества не превышала ста фландрских червонцев. Свою часть император намеревался употребить на добрые дела, – так же точно он поступил, разграбив Рим.

Клаас вместе с Сооткин и Уленшпигелем понуро побрел домой.

<sup>31</sup> Профос – полицейский чин.

<sup>32</sup> ...учения Мартина Лютера... и т. д. – Здесь перечислены имена некоторых предшественников и деятелей реформации – широкого общественного движения, направленного против католической церкви: против ее догматов (о верховной власти папы, об исключительной роли церкви в спасении души человека и др.), ее обрядов, против культа святых и почитания икон, наконец, против папства как политической силы. Наибольшее распространение реформационные учения получили в конце Средневековья, в пору расцвета городской жизни и культуры Возрождения. Все реформационные учения жестоко преследовались папством и католическими монархиями. Отколовшиеся от католицизма в результате реформации церковные направления получили впоследствии общее название – протестантизм. Упомянутые в тексте реформаторы – частью современники Карла V, как, например, немцы Мартин Лютер (1483–1546) и Филипп Меланхтон (1497–1560), швейцарец Ульрих Цвингли (1484–1531), частью писатели и мыслители предшествующих веков, как итальянец Марсилиус Падуанский (ок. 1275 – ок. 1343 гг.), англичанин Джон Уиклиф (здесь: Иоанн Виклиф) (ок. 1320–1384 гг.), чешский национальный герой Ян Гус (1371–1415).

<sup>33</sup> Лувенский университет. – Университет в г. Лувене (Брабант) с середины XVI в. становится оплотом католицизма.

<sup>34</sup> ...рассуждать и спорить о Священном Писании... – Сторонники церковных реформ в полемике с папистами издавна опирались на толкование библейских текстов, показывая несоответствие католического учения Писанию. Ортодоксальные католики не могли ответить на эту критику ничем, кроме запрета простым верующим читать и толковать Библию.

## 11

Год выдался для Клааса удачный, и он, купив за семь флоринов осла и девять мерок гороху, взобрался на свое верховое животное. Уленшпигеля он посадил сзади. Это был их торжественный выезд в гости к дяде Уленшпигеля, старшему брату Клааса, Иосту, проживавшему недалеко от Мейборга, в немецкой земле.

Смолоду Иост был простодушен и добросердечен, но потом ему довелось претерпеть столько разных несправедливостей, что он озлобился. Он сделался желчным, возненавидел людей и зажил бобылем.

Ему доставляло удовольствие стравливать двух так называемых верных друзей. Кто выходил победителем, изрядно намяв бока другому, тот получал в награду от Иоста три патара.

Еще он любил собирать у себя в жарко натопленной комнате тьму-тьмушую самых старых и самых ехидных кумушек, потчевать их гренками и сладким вином.

Тех, кому пошло на седьмой десяток, он усаживал в уголке за вязанье и советовал отпустить себе ногти подлиннее. И потом он с наслаждением слушал, как эти старые совы, держа вязальные спицы под мышкой, урча, причмокивая, хихикая, откашливаясь и отхаркиваясь, треплют имя своего ближнего.

Когда они уж очень расходились, Иост бросал в огонь щетку, и комната мгновенно наполнялась смрадом.

Кумушки поднимали крик; каждая корила другую, что это она испортила воздух, за собой же вины не признавала, а немного спустя все они вцеплялись друг дружке в волосы, и тут Иост еще подбрасывал в печку щеток и посыпал щетиною пол. Когда в комнате ничего уже нельзя было разобрать из-за побоища великого, из-за дыма, валившего густо, из-за пыли, стоявшей столбом, Иост звал двух переодетых стражниками работников, и те хворостиною гнали старух из комнаты, точно стадо злых гусей.

Тем временем Иост, осматривая поле битвы, обнаруживал ключья юбок, чулок, сорочек и старушечьи зубы.

«Потерянный вечер! Никому не вырвали в драке язык», – говорил он себе в глубокой печали.

## 12

В Мейборгской округе путь Клааса лежал через рощицу. Осел на ходу ухватывал головки репейника. Уленшпигель ловил бабочек шапкой, не слезая с ослика. Клаас угрызал ломоть хлеба, мечтая как следует sprysnuten его пивом в ближайшей таверне. Внезапно до его слуха долетел колокольный звон и слитный гул огромной толпы народа.

– Уж верно, это богомольцы, и, должно полагать, их тут сила, – заключил он. – Держись крепче, сынок, а то как раз шлепнешься. Поглядим, что там такое. А ну, серый, шевелись!

И серый припустился.

Миновав лесок, Клаас очутился на плато, западный склон которого спускался к реке. На восточном склоне маячила часовенка; ее кровля была увенчана изображением Божьей Матери, а у ног Богородицы виднелись два вытесанных из камня бычка. На лестнице стоял и, посмеиваясь, ударял в колокол отшельник, окруженный полсотней прислужников с зажженными свечами, звонарями, барабанщиками, трубачами, дудочниками, свирельщиками, волынщиками и множеством разудалых парней, в руках у которых были жестяные коробки с железками, и все эти люди до времени хранили молчание.

По дороге сомкнутым строем, по семи человек в каждом ряду, все в шлемах, шли, опираясь на неоструганные посохи, пять с лишним тысяч богомольцев. К ним с великим шумом

подстраивались новые толпы, появлявшиеся откуда-то со стороны, тоже в шлемах и с посохами. Ряд за рядом проходя мимо часовни, они подставляли под благословение свои посохи, брали у прислужников каждый по свече и уплачивали за это полфлорина отшельнику.

Шествие это так растянулось, что у передних свечи уже догорали, меж тем как у задних только-только еще разгорались.

Перед изумленным взором Клааса, Уленшпигеля и осла мелькало великое множество самых разнообразных животов – широких, высоких, продолговатых, остроконечных, горделивых, подтянутых или же дряблых, свисавших на естественные свои подпорки. И на всех богомольцах высились шлемы.

Тут были шлемы троянские, похожие на фригийские колпаки<sup>35</sup> или же увенчанные султанами из рыжего конского волоса. На некоторых красовались шлемы с распростертыми крыльями, хотя, глядя на этих мордастых пузанов, трудно было представить себе их парящими в воздухе. На иных торчали шишом шишаки.

Большинство, однако, надело старые ржавые шлемы времен Гамбривиуса<sup>36</sup> – этот король фландрский и король пивной жил за девятьсот лет до Рождества Христова и на случай попойки, чтобы не оказаться безоружным, всегда носил на голове кружку.

Внезапно заныли, забили, запели, загудели, задудели, зазвонили, загремели колокола, волынки, свирели, барабаны и железки.

Этот содом послужил богомольцам знаком, по которому они, семерка супротив семерки, давай смазывать друг друга свечками по лицу. Вследствие этого на всех напал великий чох. Потом загуляли посохи. А там – кто во что горазд: один лягается, другой бодается, третий пинается. Вон тот ринулся в бой на бараний манер – головой вперед, надвинув шлем по самые плечи, и сослепу наткнулся на семерку рассвирепевших богомольцев, а уж те за себя постояли.

Плаксы и трусы ревели от боли, но в то время как они все еще хныкали и жалобно зывали к Богу, на них с быстротой молнии налетели две дерущиеся семерки богомольцев, опрокинули несчастных плакс и безжалостно по ним прошлись.

А отшельник смеялся.

Другие семерки, сплетясь, точно виноградные лозы, скатились по обрыву прямо в реку, но и там, не охладив ярости, все еще колошматили друг дружку.

А отшельник смеялся.

Те, что остались на плато, подставляли один другому синяки, вышибали зубы, задавали волосяного деру, рвали в клочья штаны и полукафтаны.

А отшельник смеялся и приговаривал:

– Так, так, ребяташки! Кто лихо бьет, тот крепко любит. На сильного бойца все красотки зарятся. Риндбибельская Божья Матерь, вот это, я понимаю, мужчины!

А богомольцы рады стараться.

Тем временем Клаас приблизился к отшельнику, Уленшпигель же, крича и хохоча, рукоплескал дерущимся.

– Отец, – молвил Клаас, – что эти бедняги такого натворили? Кто их неволит избивать друг дружку до полусмерти?

Но отшельник не слушал его и кричал:

– Эй вы, дармоеды, что приуныли? Устали кулаки – слава Тебе, Господи, у вас ноги есть. Они вам не на то даны, чтобы удирать как зайцы. Чем можно высечь из камня огонь? Ежели по камню ударить железом. Что лучше всего распаляет мужчину в летах? Ежели остервениться и надавать ему тумаков.

---

<sup>35</sup> *Фригийский колпак* – высокий красный колпак, загнутый вперед; головной убор древних фригийцев (Малая Азия).

<sup>36</sup> *Гамбривиус* (иначе Гамбринус) – легендарный король Фландрии и изобретатель пива. Имя Гамбринус производят от искаженного *Johannes Primus* – латинской формы имени герцога Иоанна I, покровителя брюссельской гильдии пивоваров в XIII в.

При этих словах добрые богомольцы сызнова пустили в ход шлемы, кулаки и пинки. В этой лютой битве сам стоглазый Аргус не различил бы ничего, кроме облака пыли да кончика шлема.

Внезапно отшельник зазвонил в колокол. Дудки, барабаны, трубы, волынки, свирели и железки разом стихли. Это был сигнал к миру.

Богомольцы подобрали раненых. У некоторых воинов распухшие от злости языки не помещались во рту. Но потом они все же сами вошли обратно в свои обиталища. Хуже всего пришлось тем, кто надвинул шлем чуть не по шею, – как они ни трясли головой, шлемы держались крепче, нежели зеленые сливы на ветке, и падать с головы не желали.

Наконец отшельник сказал богомольцам:

– Теперь пусть каждый пропоет «Богородицу», и можете идти к своим благоверным. Через девять месяцев в нашей округе будет столько же новорожденных, сколько в сегодняшнем сражении участвовало доблестных ратоборцев.

Тут отшельник запел «Богородицу», другие подхватили. А колокол все звонил, все звонил.

Отшельник призвал на них благословение Риндбибельской Божьей Матери и сказал:

– С миром изыди!

Богомольцы, горлая, распевая песни, наступая друг другу на пятки, двинулись в Мейборг. Жены, и старые и молодые, ждали их на порогах домов, и они ворвались в свои собственные дома, будто лихие вояки в приступом взятый город.

Колокола в Мейборге звонили без устали. Мальчишки свистели, орали, играли на *rommelpot'ax*.<sup>37</sup>

Кружки, кубки, чарки, стаканы, рюмки, полуштофы ласкали слух своим звеньканьем. Вино лилось в глотки потоками.

Трезвон все еще не смолкал, ветер все еще по временам доносил мужские, женские и детские поющие голоса, когда Клаас снова обратился к отшельнику и спросил, какие небесные блага надеются снискать эти добрые люди столь суровой епитимьей.

Отшельник засмеялся и сказал:

– Ты видишь на крыше двух каменных бычков? Стоят они там в память о чуде святого Мартина: святой Мартин превратил двух волов в двух быков и заставил их бодаться. Потом он час с лишним мазал им сальной свечкой и тер корой морды. Я как узнал про это чудо – сейчас купил за большие деньги у его святейшества грамоту и поселился здесь. С той поры все старые хрычи и пузаны из Мейборга и из окрестных сел уверовали, что при моем содействии Богородица взыщет их своею милостью, ежели они вместо миропомазания хорошенько отхлещут друг друга свечками, а потом отдубасят неоструганными палками, а неоструганная палка – это знак силы. Женщины посылают сюда своих старых мужей. Дети, зачатые после паломничества, рождаются неутомимыми, отважными, неумными, прыткими, – вояки из них выходят отличные. Ты меня узнаешь? – неожиданно обратился он с вопросом к Клаасу.

– Да, – отвечал Клаас, – ты мой брат Иост.

– Он самый, – подтвердил отшельник. – А что это за малыш корчит мне рожи?

– Это твой племянник, – отвечал Клаас.

– Какая разница между мной и императором Карлом?

– Большая разница, – отвечал Клаас.

– Нет, небольшая, – возразил Иост. – Он для своей пользы и удовольствия заставляет людей убивать друг друга, я же для своей пользы и удовольствия заставляю их колотить друг друга, только и всего.

---

<sup>37</sup> Примитивный музыкальный инструмент, буквально: «гремящий горшок» (флам.).

Затем он повел родичей в свое жилище, и там они пировали и веселились одиннадцать дней без передышки.

## 13

Простившись с братом, Клаас опять сел на своего осла, а Уленшпигеля посадил сзади. Когда они проезжали через главную площадь в Мейборге, он заметил, что собравшиеся там во множестве и стоявшие кучками богомольцы при виде их приходят в ярость и, размахивая посохами, восклицают: «У, негодник!» А все дело в том, что Уленшпигель, спустив штаны и задрав рубашонку, показывал им задний свой лик.

Видя, что богомольцы грозят его сыну, Клаас спросил его:

– За что это они на тебя сердятся?

– Я, батюшка, сижу себе на ослике да помалкиваю, а они ни с того ни с сего обзывают меня негодником, – отвечал Уленшпигель.

Клаас посадил его перед собой.

На новом месте Уленшпигель показал богомольцам язык – те завопили, замахали кулаками и, подняв свои неоструганные посохи, бросились бить Клааса и осла.

Но Клаас, дабы избежать расправы, вонзил пятки в бока ослу и, в то время как преследователи, пытаясь, мчались вдогонку, обратился к сыну:

– Видно, в недобрый час появился ты на свет. И то сказать: сидишь передо мной, никого не трогаешь, а они рады убить тебя на месте.

Уленшпигель смеялся.

Проезжая через Льеж<sup>38</sup>, Клаас узнал, что бедные поречане умирали с голоду и что они подлежали юрисдикции официала<sup>39</sup>, то есть суда духовных особ. Они подняли восстание и потребовали хлеба и светского суда. По милости монсеньора де ла Марка<sup>40</sup>, сердобольного архиепископа, иных обезглавили, иных повесили, иных сослали в изгнание.

Клаасу попадались на дороге изгнанники, бежавшие из тихой льежской долины, а неподалеку от города он увидел на деревьях трупы людей, повешенных за то, что им хотелось есть. И он плакал над ними.

## 14

Клаас привез домой от брата Иоста полный мешок денег да красивую кружку английского олова, и теперь в его доме и в праздники и в будни пир шел горой, ибо мясо и бобы у него не переводились.

Клаас частенько наливал в большую оловянную кружку *dobbelkuyt'a* и осушал ее до капельки.

Уленшпигель ел за троих и копался в блюдах, как воробей в куче зерна.

– Того и гляди, солонку съест, – заметил однажды Клаас.

– Если солонки сделаны, как у нас, из хлебной корки, то время от времени их надо съедать, иначе в них черви заведутся, – отвечал Уленшпигель.

– Зачем ты вытираешь жирные руки о штаны? – спросила Сооткин.

– Чтобы штаны не промокали, – отвечал Уленшпигель.

Тут Клаас как следует хлебнул из кружки.

---

<sup>38</sup> Льеж – город в Южных Нидерландах, центр Льежского епископства, большой области, находившейся под властью епископа и формально автономной.

<sup>39</sup> Официал – должностное лицо при епископе, выполнявшее функции церковно-судебной власти.

<sup>40</sup> Де ла Марк, Эбергард (Эврар) (ок. 1475–1538 гг.) – льежский епископ (с 1505 г.), кардинал (с 1520 г.). Деспотичный, воинственный и жестокий, свирепо преследовавший еретиков, он был ненавистен даже своему окружению.

– Отчего это у тебя здоровенная кружища, а у меня махонький стаканчик? – спросил Уленшпигель.

– Оттого что я твой отец и набольший в доме, – отвечал Клаас.

– Ты пьешь уже сорок лет, а я всего только девять, – возразил Уленшпигель, – твоё время прошло, мое начинается, значит, мне полагается кружка, а тебе стаканчик.

– Сынок, – сказал Клаас, – кто захочет влить в бочонок целую бочку, тот прольет пиво в канаву.

– А ты будь умней и лей свой бочонок в мою бочку – я ведь побольше твоей кружки, – отрезал Уленшпигель.

Клаас пришел в восторг и позволил ему выпить целую кружку. Так Уленшпигель научился балагурить за угощение.

## 15

Сооткин носила под поясом наглядное доказательство того, что ей скоро вновь предстоит сделаться матерью. Катлина тоже была беременна и от страха никуда не выходила из дому.

Сооткин пошла ее навестить.

– Ах! – воскликнула удрученная Катлина. – Что мне делать с несчастным плодом моего чрева? Придушить его, что ли? Нет, лучше умереть самой! Но ведь если стражники найдут у меня внебрачное дитя, они с меня, как с какой-нибудь гулящей девки, сдерут двадцать флоринов, да еще и высекут на Большом рынке.

Сооткин сказала ей несколько ласковых слов в утешение и задумчиво побрела домой.

Как-то раз она сказала Клаасу:

– Если у меня будет двойня, ты меня не побьешь, муженек?

– Не знаю, – отвечал Клаас.

– А если этого второго ребенка рожу не я и если он, как у Катлины, неизвестно от кого – может, от самого черта? – допытывалась Сооткин.

– От чертей бывает огонь, дым, смерть, но не дети, – возразил Клаас. – Катлинина ребенка я бы усыновил.

– Да ну? – удивилась Сооткин.

– Мое слово свято, – отвечал Клаас.

Сооткин понесла эту весть Катлине.

Катлина обрадовалась и, не помня себя от счастья, воскликнула:

– Ах он благодетель! Спас он меня, горемычную. Господь его благословит, и дьявол его благословит, – примолвила она с дрожью в голосе, – если только это дьявол породил бедного моего ребенка – вон он шевелится у меня под сердцем.

Сооткин родила мальчика, Катлина – девочку. Обоих понесли крестить как детей Клааса. Сын Сооткин был назван Гансом и скоро умер, дочь Катлины была названа Неле и выжила.

Напиток жизни она пила из четырех сосудов: из двух сосудов у Катлины и из двух сосудов у Сооткин. Обе женщины ласково пререкались, кому из них кормить ребенка. Но Катлина вскоре вынуждена была лишиться себя этого удовольствия, чтобы не подумали, откуда же у нее молоко, раз она не рожала.

Когда ее дочку Неле отняли от груди, Катлина взяла ее к себе и пустила к Клаасам только после того, как девочка стала называть ее мамой.

Соседи одобряли Катлину за то, что она взяла на воспитание девочку Клаасов: она, мол, живет – горя не знает, а те никак из нужды не выбьются.

## 16

В одно прекрасное утро Уленшпигель сидел дома и от скуки мастерил из отцовского башмака кораблик. Он уже воткнул в подошву грот-мачту и продырявил носок, чтобы поставить там бушприт, как вдруг в дверях показалась верхняя часть тела всадника и голова коня.

– Есть кто дома? – спросил всадник.

– Есть, – отвечал Уленшпигель, – полтора человека и лошадиная голова.

– Это как же? – спросил всадник.

– А так же, – отвечал Уленшпигель. – Целый человек – это я, полчеловека – это ты, а лошадиная голова – это голова твоего коня.

– Где твои родители? – спросил путник.

– Отец делает так, чтоб было и шатко и валко, а мать старается осрамить нас или же ввести в убыток, – отвечал Уленшпигель.

– Говори яснее, – молвил всадник.

– Отец роет в поле глубокие ямы, чтобы туда свалились охотники, которые топчут наш посев, – продолжал Уленшпигель. – Мать пошла денег призанять. И вот если она вернет их не сполна, то это будет срам на нашу голову, а если отдаст с лихвой, то это будет нам убыток.

Тогда путник спросил, как ему проехать.

– Поезжай там, где гуси, – отвечал Уленшпигель.

Путник уехал, но когда Уленшпигель принялся из второго Клаасова башмака делать галеру, он возвратился.

– Ты меня обманул, – сказал он. – Там, где плещутся гуси, – грязь невылазная, трясина.

– А я тебя посылал не туда, где гуси плещутся, а туда, где они ходят, – возразил Уленшпигель.

– Одним словом, покажи мне дорогу, которая идет в Хейст, – молвил путник.

– У нас во Фландрии передвигаются люди, а не дороги, – возразил Уленшпигель.

## 17

Однажды Сооткин сказала Клаасу:

– Муженек, у меня душа не на месте: Тиль вот уже третий день домой не является. Как ты думаешь, где он?

На это ей Клаас с унылым видом ответил:

– Он там, где все бродячие собаки, то есть на большой дороге, с такими же, как и он, сорванцами. Наказание Господне, а не сын. Когда он родился, я подумал, что это будет нам отрада на старости лет, что это будет помощник в доме. Я надеялся, что из него выйдет честный труженик, но по воле злой судьбы из него вышел бродяга и шалопай.

– Ты уж больно строг к своему сыну, муженек, – заметила Сооткин. – Ведь ему только девять лет – когда же и пошалить, как не в эту пору? Он – все равно что дерево: дерево сперва сбрасывает чешуйки, а потом уж обряжается в свою красу и гордость – в листья. Он озорник, это верно, но озорство со временем ему еще пригодится, если только он обратит его не на злые шутки, а на полезное дело. Он любит подтрунить над кем-нибудь, но со временем и это ему пригодится в какой-нибудь веселой компании. Он все хохочет, но если у человека с детства постное лицо, то это дурной знак: что же с ним будет потом? Он, говоришь, много бегает? Стало быть, того требует рост. Бездельничает? Ну так ведь в его возрасте еще не сознают, что труд есть долг. Иной раз несколько суток кряду шляется неизвестно где? Да ведь ему невдогад, что он нас этим огорчает, а сердце у него доброе, и он нас любит.

В ответ Клаас только головой покачал, а когда он уснул, Сооткин долго плакала втихомолку. Под утро привиделось ей, будто ее сын лежит больной где-то на дороге, и она вышла посмотреть, не идет ли он. Но никого не было видно. Тогда она стала смотреть в окно. Чуть слышит легкие детские шаги – сердце так и забьется, а увидит бедная мать, что это не Уленшпигель, – и в слезы.

Уленшпигель же со своими дрянными товарищами был в это время в Брюгге, на субботнем базаре.

Кого-кого только на этой толкучке не встретишь! Башмачников в палатках, старьевщиков, антверпенских *meesevanger*-ов, по ночам ловящих с совою синиц, собачников, продавцов кошачьих шкурок, идущих на перчатки, манишки и камзолы, покупателей всякого разбора: горожан и горожанок, лакеев и служанок, хлебодаров, ключников, поваров и поварих, и все это выкрикивает, перекрикивает, хвалит и хаает товар.

В одном углу была натянута на четыре шеста красивая парусиновая палатка. У входа стояли поселянин из Алоста и два монаха, собиравшие пожертвования; поселянин показывал благочестивому люду всего за один патар осколок плечевой кости св. Марии Египетской<sup>41</sup>. Хриплым голосом восхвалял он добродетели этой святой и в славословии своем не забывал упомянуть, как она за неимением денег, боясь погрешить против Святого Духа, если откажет в вознаграждении за труд, уплатила некоему юному перевозчику натурой.

Оба монаха кивали головой в знак того, что все это сущая правда. Поодаль дебелия краснорожая бабища, блудливая, как Астарта<sup>42</sup>, дула что есть мочи в мерзкую волюнку, а премиленькая девчурка пела-заливалась, будто пеночка, но ее никто не слушал. Над входом в палатку, подвешенная веревками за ушки к двум шестам, болталась бадья со святой водой из Рима – так по крайности уверяла бабища, а два монаха утвердительно качали головой. Уленшпигель поглядел на бадью и призадумался.

К одному из шестов, на коих держалась палатка, был привязан ослик, которого по всем признакам кормили не столько овсом, сколько соломой. Он тупо, без всякой надежды обнаружить головку репейника, уставил глаза в землю.

– Ребята! – воскликнул Уленшпигель, показав на бабищу, на монахов и на тоскующего осла. – Хозяева поют весело – пусть-ка и ослик попляшет.

С этими словами он сбегал в ближайшую лавочку, купил на шесть лиаров перцу и насыпал ослу под хвост.

Восчувствовав действие перца, осел попытался удостовериться, откуда это непривычное ощущение жара под хвостом. Решив, что его припекает черт, и вознамерившись спастись от него бегством, он заверещал, забил ногами и изо всех сил рванулся. При первом же сотрясении бадья опрокинулась, и вся святая вода вылилась на палатку и на тех, кто в ней находился. Вслед за тем сползла парусина и распростерла влажный покров надо всеми, кто слушал историю Марии Египетской. Из-под парусины до слуха Уленшпигеля и его приятелей доносились истошные вопли и стоны, барахтавшиеся под нею благочестивые слушатели перекорялись (ибо каждый считал виновником падения бадьи не себя, а своего товарища по несчастью) и в неопишущей злобе вцеплялись друг дружке изрядного тулумбаса. Под напором бойцов парусина надувалась. Как только перед взором Уленшпигеля отчетливо обрисовывалась чья-либо округлость, он незамедлительно втыкал в нее булавку. В ответ под парусиной поднимался яростный вой и усиленно работали кулаки.

Это было презабавно, однако дело пошло еще веселей, когда ослик дал тягу и увлек за собой парусину, бадью, шесты, а равно и вцепившихся в свое достояние владельца палатки, его супругу и дочку. Наконец утомленный ослик поднял морду и запел, причем в этом своем

<sup>41</sup> Мария Египетская – христианская святая. По преданию, в молодости была блудницей, а потом раскаялась.

<sup>42</sup> Астарта – у древних финикиян богиня плодородия и любви; в позднейшие времена ее имя стало символом распутства.



нении он делал перерывы только для того, чтобы оглянуться, скоро ли угаснет огонь, жгущий его под хвостом.

Благочестивые люди все еще бились, а монахи, не обращая на них ни малейшего внимания, подбирали деньги, упавшие с тарелок, Уленшпигель же не без пользы для себя благоговейно им помогал.

## 18

Меж тем как непутевый сын угольщика возрастал в веселии и озорстве, жалкий отпрыск великого императора прозябал в тоске и унынии. На глазах у дам и вельмож этот заморыш влачил по переходам и покоем Вальядолидского дворца свое тщедушное тело с непомерно большой головой, на которой топорщились белые волосы, и еле передвигал неустойчивые ноги.

Выискивая переход потемнее, он садился, вытягивал ноги и так сидел часами. Если кто-нибудь из слуг нечаянно наступал ему на ногу, он приказывал высечь его и с наслаждением слушал, как тот кричит, но смеяться никогда не смеялся.

На другой день он устраивал ту же ловушку в каком-нибудь другом темном переходе – садился и вытягивал ноги. Дамы, вельможи и пажи, проходя или пробегая мимо, натыкались на него, падали и ушибались. Ему это доставляло удовольствие, но смеяться он никогда не смеялся.

Если кто-нибудь спотыкался, но не падал, инфант кричал, как будто его резали, и ему приятно было видеть на лице человека испуг, но смеяться он никогда не смеялся.

О поведении инфанта довели до сведения его святейшего величества, однако император приказал не обращать на него внимания: если-де он не хочет, чтобы ему наступали на ноги, так пусть не разваливается.

Филиппу это не понравилось, но он ничего не сказал, и теперь его можно было видеть лишь в ясные летние дни, когда он грел на солнышке свое зябкое тело.

Однажды, возвратившись из похода, Карл увидел, что Филипп, как водится, изнывает от скуки.

– Сын мой, – сказал он, – до чего же ты не похож на меня! В твои годы я лазал по деревьям и ловил белок, спускался по канату с отвесной скалы, чтобы достать из гнезда орлят. Я рисковал сложить там кости, но они стали только крепче от этой забавы. Когда я выходил с доброй моей аркебузой на охоту, дикие звери, завидев меня, прятались в лесной чаще.

– Ах, государь батюшка, у меня живот болит! – пожаловался инфант.

– Самое верное средство от этой хвори – паксаретское вино, – сказал Карл.

– Я не выношу вина – у меня, государь батюшка, голова болит.

– Тебе надо бегать, сын мой, – сказал Карл, – надо прыгать, скакать, как все твои сверстники.

– У меня, государь батюшка, ноги не гнутся.

– Как же они будут гнуться, если ты их не упражняешь, точно они у тебя деревянные? – возразил Карл. – погоди ты у меня, я велю привязать тебя к быстрому коню!

Инфант расплакался.

– Не привязывайте меня, государь батюшка, у меня спина болит, – сказал он.

– Где же тебе не больно? – спросил Карл.

– Если меня оставить в покое, мне нигде не будет больно, – отвечал инфант.

– Что ж, по-твоему, – теряя терпение, продолжал император, – ты, престолонаследник, так и будешь всю жизнь думу думать, как какой-нибудь писец? Писцам, чтобы мараить пергамент, потребны тишина, уединение, сосредоточенность. Тебе, отпрыску воинственного рода, нужны пылкая кровь, глаза рыси, хитрость лисы, сила Геркулеса. Чего ты крестишься? А, черт! Львенку не пристало обезьянничать баб-святош.

– К вечерне звонят, государь батюшка, – молвил инфант.

## 19

Май и июнь в этом году были в полном смысле слова месяцами цветов. Никогда еще во Фландрии так не благоухал боярышник, никогда еще в садах не было столько роз, столько жасмина и жимолости. Когда ветер дул из Англии и относил ароматы цветущей земли к востоку, все, в особенности антверпенцы, весело поднимали нос и говорили:

– Чувствуете, какой приятный ветерок потянул из Фландрии?

А проворные пчелы собирали с цветов мед, делали воск и клали яички в переполненные ульи. О, как дивно звучит музыка пчелиного труда под голубым лучезарным небом, обнимающим плодоносную землю!

Ульи спешно делались из тростника, соломы, ивовых прутьев, травы. Корзинщики, столеры, бочары притупили на этой работе свои инструменты. Коротники давно уже были нарасхват.

В каждом рое насчитывалось тридцать тысяч пчел и две тысячи семьсот трутней. Соты были до того хороши, что настоятель собора в Дамме послал императору Карлу одиннадцать рамок в знак благодарности за то, что тот вновь возвысил священную инквизицию. Мед съел Филипп, но впрок это ему не пошло.

Жулики, нищие, бродяги, полчище праздношатающихся тунеядцев, прогуливавших по большим дорогам свою лень и предпочитавших пойти на виселицу, нежели заняться делом, – все они, почуяв запах меда, явились за своей долей. По ночам они толпами ходили вокруг да около.

Клаас тоже наготовил ульев и загонял в них рои. Некоторые были уже полны, другие пока еще пустовали. Клаас ночи напролет караулил сладостное свое достояние. Когда же он валился с ног от усталости, то поручал это Уленшпигелю. Тот охотно за это брался.

И вот однажды ночью Уленшпигель спрятался от холода в улей и, скорчившись, стал поглядывать в летки, каковых было всего два.

Уленшпигеля уже клонило ко сну, но тут вдруг затрещала живая изгородь, потом послышался один голос, другой – ну конечно, воры! Уленшпигель заглянул в леток и увидел двух мужчин, длинноволосых и бородатых, а ведь бороду тогда носили только дворяне.

Переходя от улья к улью, они наконец остановились подле того, где сидел Уленшпигель, и, подняв, сказали:

– Возьмем-ка этот – он потяжелей других.

Затем они просунули в него палки и потащили.

Уленшпигелю это катание в улье особого удовольствия не доставляло. Ночь была светлая. Воры первое время двигались молча. Через каждые пятьдесят шагов они останавливались, отдыхали, потом шли дальше. Шагавший впереди начал злобно ворчать на тяжесть ноши, шагавший сзади жалобно хныкал. Надобно знать, что на свете существует два сорта лодырей: одни клянут всякую работу, другие ноют, когда им приходится что-нибудь делать.

Уленшпигель с решимостью отчаяния схватил переднего за волосы, а заднего за бороду и давай трясти, пока наконец злюка, которому эта забава наскучила, не крикнул нюне:

– Оставь мои волосы, а то я так тресну тебя по башке, что она провалится в грудную клетку, и будешь ты смотреть на свет Божий через ребра, как вор через тюремную решетку.

– Да что ты, братец, – сказал нюня, – это ты дергаешь меня за бороду!

– У чесоточных я вшей не ищу, – отрезал злюка.

– Эй, сударь, – взмолился нюня, – не раскачивай ты так сильно улей – мои бедные руки не выдержат!

– Вот я тебе их сейчас оторву напрочь! – пригрозил злюка.

С этими словами он поставил улей наземь и бросился на своего товарища. И тут они вступили в бой, один – бранясь, другой – моля о пощаде.

Пока сыпался град тычков, Уленшпигель вылез из улья, оттащил его в ближний лес, запомнил место, где он его спрятал, и пошел домой.

Так пользуются хитрецы чужими сварами.

## 20

Уленшпигелю было пятнадцать лет, когда он соорудил однажды в Дамме маленькую палатку на четырех шестах и объявил, что каждый может здесь лицезреть в изящной соломенной раме свое собственное изображение – как настоящее, так равно и будущее.

Если к палатке подходил спесивый, распираемый тщеславием законник, Уленшпигель высовывался из рамы, придавал себе обличье старой обезьяны и говорил:

– Тебе, старая рожа, пора червей кормить, а не землю бременить. Ведь я же вылитый твой портрет, ученая твоя образина!

Если Уленшпигель имел дело с каким-нибудь лихим рубакой, то мгновенно прятался, вместо своего лица выставлял в раме большущее блюдо с мясом и хлебом и говорил:

– В бою из тебя похлебку сварят. Ну как тебе нравится мое предсказание, доблестный орел-стервятник?

Когда же к Уленшпигелю подходили старик, убежденный непочтенными сединами, и его молодая жена, Уленшпигель прятался, как в случае с солдафоном, а затем показывал в раме деревцо, на ветках которого висели роговые черенки ножей, роговые ларцы, роговые гребешки, роговые письменные приборы, и спрашивал:

– Из чего сделаны все эти штуковины, милостивый государь? Не из рогового ли дерева, что растет в садах у старых мужей? Пусть-ка теперь кто-нибудь посмеет сказать, что от рогоносцев нет никакой пользы для государства!

Тут Уленшпигель выставлял в раме рядом с деревцом свое молодое лицо.

Старикашка давился кашлем от злости, красotka гладила его по голове и, когда тот успокаивался, подходила, улыбаясь, к Уленшпигелю.

– А мое изображение покажешь? – спрашивала она.

– Подойди поближе, – подзывал ее Уленшпигель.

Как скоро она подходила, он набрасывался на нее с поцелуями.

– Тугая молодость, которая прячется за высокомерными гульфиками, – вот твое изображение, – говорил он.

После этого красotka отходила, вручив ему один, а то и целых два флорина.

Жирному, толстогубому монаху, которому тоже хотелось посмотреть на свое настоящее и будущее изображение, Уленшпигель говорил:

– Сейчас ты ларь для ветчины, а потом быть тебе винным погребом, ибо соленькое позывает на винопийство, – что, не правду я говорю, толстопузый? Дай патар за то, что я угадал.

– Сын мой, мы не носим с собой денег, – возражал монах.

– Стало быть, деньги носят тебя, – не сдавался Уленшпигель. – Я знаю, они у тебя в сандалиях. Дай сюда твои сандалии!

Но монах ему:

– Сын мой, это достояние обители! Впрочем, так и быть, вот тебе два патара за труды.

Монах протягивал деньги, Уленшпигель благосклонно их принимал.

Так показывал он изображения жителям Дамме, Брюгге, Бланкенберге и даже Остенде.

И, вместо того чтобы сказать по-фламандски: *Ik ben u lieden spiegel*, то есть: «Я ваше зеркало», он проглатывал слоги и произносил так, как и сейчас еще произносят в Восточной и Западной Фландрии: *Ik ben ulen spiegel*.

Вот откуда пошло его прозвище – Уленшпигель.

## 21

Придя в возраст, он повадился шататься по ярмаркам и рынкам. Если ему попадались гобоист, скрипач или же волынщик, то он за патар брал у них уроки музыки.

Особенно он наострился играть на *rommelpot'e* – самодельном инструменте, состоявшем из горшка, пузыря и длинной тростинки. Мастерил он его так: с вечера натягивал смоченный пузырь на горшок, вставлял туда тростинку, так что она одним концом упиралась в дно, а верхнее ее коленце перевязывал и подпирал им пузырь, отчего пузырь натягивался до отказа. К утру пузырь высыхал и при ударах бухал, как тамбурин, а тростинка звучала под рукою приятней, чем виола. На Крещение Уленшпигель брал свой горшок, хрипевший и лаявший, как цепной пес, и шел по домам Христа славить с гурьбою мальчишек, один из которых нес блестящую бумажную звезду.

Если в Дамме появлялся живописец с целью увековечить на полотне членов какой-нибудь гильдии, Уленшпигель, только чтобы посмотреть, как он работает, предлагал ему свои услуги по части растирания красок за скромное вознаграждение в виде трех лиаров, ломтя хлеба и кружки пива.

Растирая краски, он изучал манеру мастера. Когда тот отлучался, он старался ему подражать, но злоупотреблял красной краской. Он пытался нарисовать Клааса, Сооткин, Катлину, Неле, а также горшки и кружки. Клаас, поглядев на его рисунки, предрек, что со временем он научится разрисовывать *speelwagen*'ы – так во Фландрии и в Зеландии называются фургоны с бродячим цирком – и будет загребать деньги лопатой.

У каменщика, который подрядился сделать на клиросе в соборе Богоматери для престарелого настоятеля сиденье, на котором тот, когда устанет, мог бы сидеть так, чтобы молящимся казалось, будто он стоит, Уленшпигель научился резать по камню и дереву.

Уленшпигель первый сделал резную рукоять для ножа, и в Зеландии такие рукояти не вывелись донныне. Он сделал ее в виде клетки. Внутри положил выточенный череп. Сверху прикрепил к клетке выточенную лежащую собаку. Все это должно было означать: «Клинок, верный по гроб жизни».

Так начали сбываться предсказания Катлины, что, мол, кем-кем только Уленшпигель не будет: и ваятелем, и живописцем, и крестьянином, и дворянином, – должно заметить, что у рода Клаасов был свой герб, переходивший от отцов к детям: три серебряные кружки в натуральную величину на поле цвета *bruinbier'a*.<sup>43</sup>

Но ни на одном ремесле Уленшпигель остановиться не мог, и в конце концов Клаас объявил ему, что если так будет продолжаться, то он его выгонит.

## 22

Однажды император, возвратившись из похода, спросил, почему его сын Филипп не вышел с ним поздороваться.

Архиепископ, воспитатель инфанта, ответил, что инфант не пожелал выйти, ибо, по его словам, он любит только книги и уединение.

Император осведомился, где в настоящую минуту находится инфант.

Воспитатель сказал, что его нужно искать по темным закоулкам. И они отправились на поиски.

---

<sup>43</sup> Сорт темного пива (флам.).

Пройдя длинную анфиладу комнат, император и архиепископ в конце концов очутились в каком-то чулане с земляным полом, куда свет проникал через небольшое отверстие в стене. В землю был вбит столб, а к столбу подвешена маленькая славенькая мартышка, присланная его высочеству в подарок из Индии, с тем чтобы она своими резвостями его забавляла. Внизу еще дымились непрогоревшие дрова, в чулане стоял мерзкий запах паленой шерсти.

Зверек так мучился, издыхая на огне, что при взгляде на его маленькое тельце казалось, будто это не тельце существа, в котором только что билась жизнь, но какой-то кривой, узловатый корень. Рот, широко раскрытый, точно в предсмертном крике, был полон кровавой пены, мордочка мокра от слез.

– Кто это сделал? – спросил император.

У воспитателя язык прилип к гортани. Оба молчали, сумрачные и возмущенные.

Внезапно в заднем темном углу кто-то как будто кашлянул. Его величество оглянулся и увидел инфанта Филиппа – тот, весь в черном, сосал лимон.

– Дон Фелипе, – сказал император, – подойди и поздоровайся со мной.

Инфант, не шевелясь, смотрел на него испуганным и недобрым взглядом.

– Это ты сжег обезьянку? – спросил император.

Инфант потупился.

– Если ты способен на такое зверство, то имей по крайней мере мужество в этом признаться, – молвил император.

Инфант не проронил ни слова.

Император выхватил у инфанта лимон и, зашвырнув, бросился на сына с кулаками, сын от страха обмочился, но архиепископ остановил императора и сказал ему на ухо:

– Его высочество в один прекрасный день станет великим сожигателем еретиков.

Император усмехнулся, и они вышли, оставив инфанта один на один с обезьянкой.

Но далеко не одни обезьяны умирали тогда на кострах.

## 23

Пришел ноябрь, студеный месяц, когда кашлюны с наслаждением предаются музыке харканья. В эту пору мальчишки целыми стаями совершают набеги на чужие огороды и воруют что придется – к великой ярости крестьян, которые с вилами и дубинами попусту за ними гоняются.

Как-то вечером Уленшпигель, возвращаясь после одного из таких набегов домой, услышал, что под забором кто-то скулит. Нагнувшись, он увидел лежавшую на камнях собачку.

– Бедный песик! Что ты тут делаешь в такой поздний час? – спросил он.

Погладив собачонку и почувствовав, что спина у нее мокрая, словно ее незадолго перед тем кто-то швырнул в воду, Уленшпигель, чтобы согреть, взял ее на руки.

Придя домой, он сказал:

– Я раненого принес. Что с ним делать?

– Перевязать, – посоветовал Клаас.

Уленшпигель положил собаку на стол. При свете лампы Клаас, Сооткин и он обнаружили, что это рыженький люксембургский шпиц и что на спине у него рана. Сооткин промыла рану, смазала мазью и перевязала тряпочкой. Видя, что Уленшпигель несет шпица к себе на кровать, Сооткин выразила желание взять его к себе – она боялась, как бы Уленшпигель, который, по ее выражению, вертится во сне, точно бес под кропилом, не придушил собачонку.

Но Уленшпигель настоял на своем. И он так старательно ухаживал за раненым, что через неделю тот уже бегал с нахальным видом заправского барбоса.

A *schoolmeester*, школьный учитель, назвал пса Титом Бибулом Шнуффием<sup>44</sup>: Титом – в честь сердобольного римского императора, подбиравшего всех бездомных собак; Бибулом – за то, что он, как настоящий пьяница, пристрастился к *bruinbier*’у, а Шнуффием – за то, что он вечно что-то вынюхивал и совал нос во все крысиные и кротовые норы.

## 24

В конце Соборной улицы по берегам глубокого пруда стояли, одна против другой, две ивы.

Уленшпигель протянул между ивами канат и в одно из воскресений, когда в соборе кончилась служба, начал на этом канате плясать, да так ловко, что толпа зевак рукоплесканиями и криками выразила ему свое одобрение. Потом он спрыгнул наземь и обошел зрителей с тарелкой – тарелка быстро наполнилась, но из всей выручки Уленшпигель взял себе только одиннадцать лиаров, а остальное высыпал в передник Сооткин.

В следующее воскресенье Уленшпигелю вздумалось еще разок поплясать на канате, однако гадкие мальчишки, позавидовав его ловкости, надрезали канат, и не успел Уленшпигель несколько раз подпрыгнуть, как он лопнул, а сам Уленшпигель полетел в воду.

В то время как он плыл к берегу, проказники кричали ему:

– Эй, Уленшпигель, знаменитый плясун, как твое драгоценное здоровье? Ты что же это, карпов плясать учишь?

Как скоро Уленшпигель вылез из воды, мальчишки со страху, что он им всыплет, дунули было от него, но он, отряхнувшись, крикнул:

– Чего вы? Приходите в воскресенье: я вам покажу разные фокусы на канате да еще выручкой поделюсь.

В следующее воскресенье мальчишки не надрезали канат – напротив, они смотрели в оба, как бы кто другой его не тронул, а то ведь народу собралась уйма.

Уленшпигель им сказал:

– Дайте мне каждый по башмаку. Большие, маленькие – безразлично, – бьюсь об заклад, что они у меня все запляшут.

– А что мы получим, если ты проиграешь? – спросили мальчишки.

– Сорок кружек *bruinbier*’а, – отвечал Уленшпигель, – а если я выиграю, вы мне дадите три патара.

– Ладно, – согласились мальчишки.

Каждый дал ему по башмаку. Уленшпигель сложил их все к себе в фартук и с этим грузом заплясал на канате, хотя это ему было и нелегко. Юные завистники крикнули:

– Ведь ты же хвалился, что они у тебя все запляшут? А ну, не финти, обуй-ка их!

Уленшпигель же, не переставая плясать, так им на это ответил:

– А я и не говорил, что обую ваши башмаки, – я только обещал поплясать с ними. Вот я и пляшу, и они пляшут вместе со мной в фартуке. Ну, что глаза-то вытарасили, как все равно лягушки? Пожалуйте сюда три патара!

Но они загалдели и потребовали обратно свою обувь.

Уленшпигель и ну швырять в них один за другим башмаки, вследствие чего произошла свалка и никто не мог разобрать, где же в этой куче его башмаки, никакими силами не мог до них дотянуться.

Тогда Уленшпигель слез с дерева и полил бойцов, но только не чистой водицей, а чем-то еще.

---

<sup>44</sup> *Tit* Бибул (лат. *bibulus* – пьяница) *Шнуффий* (от флам. *snuffelen* – нюхать) – тройная кличка, данная псу школьным учителем, пародирует трехчленное древнеримское имя.

## 25

Инфант в пятнадцать лет имел обыкновение слоняться по всем дворцовым переходам, лестницам и залам. Чаще всего он бродил вокруг дамских покоев и затевал ссоры с пажами, которые тоже вроде него, с видом котов, подстерегающих мышку, вечно где-нибудь там торчали. Некоторые из них, задрав носы кверху, пели во дворе какую-нибудь трогательную балладу.

Услышав пение, инфант внезапно появлялся в окне, а бедные пажи, увидев вместо ласковых очей своей возлюбленной эту мертвенно-бледную харю, в испуге от нее шарахались.

Среди придворных дам была одна знатная фламандка родом из Дюдзееле, что неподалеку от Дамме, пышнотелая, напоминавшая прекрасный зрелый плод, зеленоглазая, златокудрая красавица. Пылкая и жизнерадостная, она не таила своей склонности к тому или иному счастливцу, который на этой прекрасной земле наслаждался неземным блаженством особого ее благоволения. В то время она питала нежные чувства к одному красивому и родовитому придворному. Каждый день в условленный час она приходила к нему на свидание, и Филипп про это узнал.

Устроив засаду на скамье у окна, он подстерг ее, и когда она, во всей своей прельстительности, с разгоревшимися глазами и полуоткрытым ртом, шурша платьем из золотой парчи, прямо после купания проходила мимо него, инфант, не вставая с места, обратился к ней:

– Сеньора, можно вас на минутку?

Сгорая от нетерпения, точно кобылица, которую остановили на всем скаку, когда она мчалась к красивому жеребцу, ржущему на лужайке, она молвила в ответ:

– Ваше высочество! Мы все здесь должны повиноваться вашей августейшей воле.

– Сядьте рядом со мной, – сказал инфант.

Окинув ее плотоядным, злобным и ехидным взглядом, он прибавил:

– Прочтите мне «Отче наш» по-фламандски. Я когда-то знал, да забыл.

Бедная придворная дама начала читать «Отче наш», а он все прерывал ее и просил читать как можно медленнее.

И так, в то самое время, когда бедняжка была уверена, что настал час для иных молитв, он заставил ее десять раз прочитать «Отче наш».

После этого он стал восхищаться ее чудными волосами, румянцем, ясными очами, но о роскошных плечах, о высокой груди и обо всем прочем ничего не посмел сказать.

Наконец она решила, что можно удалиться, и уже поглядывала во двор, где ее дожидался кавалер, но тут инфант задал ей вопрос, каковы суть добродетели женщины.

Боясь попасть впросак, она молчала – тогда он наставительным тоном ответил за нее:

– Добродетели женщины суть целомудрие, соблюдение чести и благонравие.

Засим он посоветовал ей одеваться поскромнее и не показывать своих прелестей.

Наклонив голову в знак согласия, дама сказала, что в присутствии его гиперборейского высочества<sup>45</sup> она скорее закутается в десять медвежьих шкур, чем нацепит на себя хоть один лоскуток муслина.

Сконфузив его этим ответом, она весело упорхнула.

Между тем пламя юности горело в груди инфанта, но это было не то яркое пламя, что влечет сильных духом к смелым подвигам, и не то тихое пламя, от которого чувствительные сердца проливают слезы, – нет, то было мрачное адское пламя, возжженное не кем-либо, а

---

<sup>45</sup> *Гиперборейское высочество.* – Гипербореи – сказочный народ, живший, по представлениям древних греков, на дальнем севере.

самим сатаной. Огонь этот мерцал в его серых глазах, точно лунный свет зимою над бойней. Но он жег его немилосердно.

Никого не любя, злосчастный нелюдим не решался заигрывать с женщинами. Он прятался в каком-нибудь дальнем закоулке, в какой-нибудь комнатухе с побеленными известью стенами и узкими окошками – там он грыз пирожное, и на крошки тучами летели мухи. Лаская сам себя, инфант медленно давил мух на оконном стекле, давил сотнями и прекращал избиение только из-за сильной дрожи в пальцах. Жестокая эта забава доставляла ему какое-то пакостное наслаждение, ибо похоть и жестокость – это две отвратительные сестры. Выходил он из своего убежища еще мрачнее, чем прежде, с лицом, как у покойника, и все и вся бежали от него опрометью.

Его скорбящее высочество страдал, ибо кто других терзает, тот сам покоя не знает.

## 26

Знатная красавица покинула однажды Вальядолид и отправилась в свой дюдзеельский замок во Фландрии.

Проезжая вместе со своим толстым дворецким через Дамме, она увидела подростка лет пятнадцати – сидя возле лачуги, он играл на волынке. Перед ним стоял рыжий пес и, как видно, не одобряя этой музыки, жалобно выл. Солнце светило ярко. Подле мальчика стояла пригожая девочка и при каждом душераздирающем завывании пса покатывалась со смеху.

Проезжая мимо лачуги, прекрасная дама и толстый дворецкий обратили внимание, что Уленшпигель играет, Неле хохочет, а Тит Бибул Шнуффий воет.

– Гадкий мальчик! – сказала Уленшпигелю дама. – Зачем ты дразнишь бедную собачку?

Но Уленшпигель поглядел на нее и еще сильнее надул щеки. Бибул Шнуффий еще отчаяннее завыл, а Неле еще громче засмеялась.

Дворецкого это взорвало, и, показав на Уленшпигеля, он обратился к даме:

– Вот я сейчас отхолю поганца ножнами шпаги – он у меня живо прекратит этот несносный гвалт.

Уленшпигель смерил его взглядом, обозвал пузаном и продолжал играть. Дворецкий подошел к нему и погрозил кулаком, но в эту минуту Бибул Шнуффий бросился на него и укусил за ногу. Дворецкий со страху шлепнулся и завопил: «Караул!»

Дама засмеялась и обратилась к Уленшпигелю с вопросом:

– Ты не знаешь, волынщик, дорога в Дюдзееле там же, где была раньше?

Уленшпигель, продолжая играть, кивнул головой и посмотрел на даму.

– Что ты на меня так смотришь? – спросила она.

Но он, не прекращая игры, по-прежнему, как бы в восторженном изумлении, таращил на нее глаза.

– Молод ты еще заглядываться на дам! – заметила та.

Уленшпигель слегка покраснел, но глаз не отвел и продолжал играть.

– Я тебя спрашиваю, не изменилась ли дорога в Дюдзееле, – повторила дама.

– С той поры как вы перестали по ней ездить, вся трава на ней высохла, – отвечал Уленшпигель.

– Ты меня не проводишь? – спросила дама.

Но Уленшпигель с места не сдвинулся и все так же пристально на нее смотрел. Она поняла, что он баловник, но вместе с тем ей казалось, что шалости его – чисто детские шалости, и она не могла на него сердиться. А он неожиданно встал и направился к дому.

– Куда же ты? – спросила она.

– Пойду надену все самое лучшее, – отвечал он.

– Ну иди, – сказала дама.



Она села на скамейку у самого входа в дом. Дворецкий последовал ее примеру. Дама попробовала заговорить с Неле, но та как воды в рот набрала – она ревновала.

Уленшпигель вымылся, надел бумазейный костюм и в таком виде вышел на улицу. Праздничный наряд был очень к лицу нашему шалунишке.

– Ты правда пойдешь проводить эту красивую даму? – спросила Неле.

– Я скоро вернусь, – отвечал Уленшпигель.

– Может, мне лучше пойти? – вызвалась Неле.

– Нет, – возразил он, – уж очень грязно.

– Почему ты, девочка, не хочешь, чтобы он пошел со мной? – раздраженным и тоже ревнивым тоном спросила дама.

Неле ничего ей не ответила, но на глазах у нее выступили крупные слезы, и она печально и вместе недобро посмотрела на даму.

Они отправились вчетвером: дама, восседавшая, как королева, на белом коне, покрытом черной бархатной попоной, дворецкий, толстое брюхо которого мерно колыхалось в лад шагам, Уленшпигель, который вел коня в поводу, и Бибул Шнуффий, бежавший рядом с гордо поднятым хвостом.

Так они уже довольно долго ехали и шагали, а Уленшпигель по-прежнему чувствовал себя неловко. Он был нем как рыба и все только втягивал в себя тонкий аромат бензоя, исходящий от дамы, и украдкой поглядывал на ее застёжки, на ее драгоценности и побрякушки, на нежное ее лицо с блестящими глазами, на открытую грудь, на волосы, сверкавшие в лучах солнца, будто золотой чепец.

– Что ты все молчишь, мальчуганка? – спросила она.

Уленшпигель ничего не сказал ей в ответ.

– Хоть у тебя и отнялся язык, а все-таки ты исполнишь одну мою просьбу.

– Смотря какую, – отозвался Уленшпигель.

– Дальше ты меня не провожай, – сказала дама, – а пойдешь в Коолькерке – оно вон в той стороне – и передай от меня одному господину, одетому в черное с красным, чтобы он сегодня меня не ждал, а в воскресенье, в десять часов вечера, прошел ко мне в замок через потайной ход.

– Не пойду! – объявил Уленшпигель.

– Почему? – удивилась дама.

– Не пойду, да и все! – повторил он.

– Что это на тебя наехало, ослик упрямый? – спросила дама.

– Не пойду! – уперся Уленшпигель.

– А если я тебе дам флорин?

– Нет.

– Дукат?

– Нет.

– Каролу?<sup>46</sup>

– Нет, – отрезал Уленшпигель. – Хотя, – прибавил он со вздохом, – монеты я люблю куда больше, чем всякие прочие штуки.

Дама улыбнулась, потом вдруг закричала:

– Ай! Я потеряла мою хорошенькую, дорогую, парчовую, расшитую бисером сумочку! Еще в Дамме она висела у меня на поясе.

Уленшпигель не пошевелился. В эту минуту к даме подскочил дворецкий.

---

<sup>46</sup> Каролу – монета достоинством около 20 патаров.

– Сударыня, – сказал он, – не посылайте этого прощелыгу, он из молодых да ранний, – не видать вам тогда своей сумочки.

– Ну а кто пойдет? – спросила дама.

– Я пойду, несмотря на мой преклонный возраст, – отвечал дворецкий и зашагал обратно.

Время подошло к полудню, жара была палящая, тишина стояла мертвая. Уленшпигель, ни слова не говоря, снял свою новенькую курточку и расстелил под липой, чтобы дама села на нее, а не на сырую траву. Сам же он стал поодаль и все вздыхал.

Она вскинула на него глаза и, почувствовав жалость к этому застенчивому мальчугану, спросила, не притомились ли его молодые ноги. Вместо ответа он стал медленно клониться к земле, но она подхватила его и привлекла на свою обнаженную грудь, – ему же так у нее понравилось, что она по доброте душевной не решилась сказать ему, чтобы он поискал себе другое изголовье.

Между тем вернулся дворецкий и объявил, что сумочки нигде нет.

– Сумочка нашлась – я обнаружила ее, когда слезала с коня, – молвила дама, – она упала, но зацепилась за стремя. А теперь, – обратилась она к Уленшпигелю, – води нас прямо в Дюдзееле да скажи, как тебя зовут.

– Я назван в честь святого Тильберта, – отвечал он, – имя это означает: быстрый в погоне за всем хорошим на свете, а по прозвищу я Уленшпигель. Если вы посмотрите в это зеркало, то увидите, что во всей Фландрии ни один самый чудный цветок не сравнится с благоуханною вашей красой.

Дама покраснела от удовольствия и не рассердилась на Уленшпигеля.

А Сооткин и Неле плакали все время, пока он был в отлучке.

## 27

Возвращаясь из Дюдзееле, Уленшпигель увидел, что на окраине Дамме у самой заставы стоит Неле и ошипывает гроздь черного винограда. Виноградинки, которые она уничтожала одну за другой, разумеется, были приятны на вкус и освежали ей рот, но на лице ее не отражалось ни малейшего удовольствия. Напротив, она, видимо, была не в духе и обрывала ягодки в сердцах. Ей было так тяжело на душе, такое у нее было скорбное, печальное и в то же время нежное выражение глаз, что в Уленшпигеле заговорили жалость и сердечное влечение, – он подошел и поцеловал ее в шейку.

Вместо ответа она закатила ему звонкую оплеуху.

– Это мне ничего не объясняет, – заметил Уленшпигель.

Она заплакала навзрыд.

– Неле, – сказал он, – разве теперь принято ставить фонтаны на окраинах?

– Уйди! – сказала она.

– Как же я могу уйти от тебя, девочка, когда ты плачешь, не осушая глаз?

– И вовсе я не девочка, и вовсе я не плачу! – отрезала Неле.

– Нет, нет, ты не плачешь – у тебя вода льется из глаз.

– Уйдешь ты или нет? – спросила она.

– Не уйду, – отвечал он.

Она дрожащими руками теребила свой мокрый от слез передник.

– Неле, – снова обратился к ней Уленшпигель, – скоро распогодится?

Он смотрел на нее с доброй-доброй улыбкой.

– А тебе что? – спросила она.

– А то, что когда погода хорошая, то слезы не текут, – отвечал Уленшпигель.

– Ступай к своей красавице в парчовом платье – ее и весели, – сказала она.

Но Уленшпигель запел:

Если милая заплачет,  
Сердце рвется у меня,  
Смех ее подобен меду,  
Слезы милой – жемчуга.  
Как она мне дорога!  
За ее здоровье выпить  
Я лувенского хочу,  
За ее здоровье выпить,  
Если Неле улыбнется.<sup>47</sup>

– Подлый ты человек! – сказала она. – Еще насмехаться надо мной!

– Нет, Неле, – возразил Уленшпигель, – я человек, но не подлый: у нашего почтенного рода – рода старшин – есть герб, и на нем, на поле цвета *bruinbier'a*, изображены три серебряные кружки. А скажи, пожалуйста, Неле, неужто во Фландрии кто сеет поцелуи, тот пожинает затрешины?

– Я с тобой не разговариваю, – объявила Неле.

– Не разговариваешь, а сама раскрываешь рот и говоришь.

– Это потому, что я на тебя зла, – призналась Неле.

Уленшпигель слегка толкнул ее локтем в бок и сказал:

– Поцелуй злючку – невзлюбит, дай тычка – приголубит. А ну, девчурка, я ж тебе дал тычка – приголубь меня!

Неле обернулась. Он раскрыл объятия – все еще плача, она кинулась к нему на шею и сказала:

– Ты больше не пойдешь туда, Тиль?

Но он ничего ей не ответил – ему было не до того: он сжимал ее дрожащие пальчики и осушал губами крупные капли горячих слез, ливнем хлынувших у нее из глаз.

## 28

Между тем доблестный город Гент отказался платить подать<sup>48</sup>, которую наложил его уроженец – император Карл. Карл разорил Гент – платить ему было нечем. Это было тяжкое преступление, и Карл порешил сам учинить над ним расправу.

Сыновняя плетть больше хлещет по отцовской спине, чем всякая другая.

Враг Карла, Франциск Длинноносый<sup>49</sup>, предложил ему пройти через Францию. Карл согласился, и, вместо того чтобы заточить его в тюрьму, с ним там носились и воздавали ему царские почести. В борьбе против народов государи считают своим монаршим долгом объединиться.

---

<sup>47</sup> Здесь и далее стихи в переводе В. Рогова.

<sup>48</sup> ...*город Гент отказался платить подать*... – Династические войны Карла V были непопулярны в Нидерландах, и, когда в 1537 г. в связи с войной против Франциска I Карл обложил нидерландские города большой податью, Гент отказался уплатить свою долю налога. Конфликт между городом и королевским правительством обострился и привел к открытому восстанию, которое угрожало распространиться на всю Фландрию.

<sup>49</sup> *Франциск Длинноносый* – Франциск I, французский король (1515–1547) из династии Валуа. В начале царствования покровительствовал наукам (в 1530 г. была основана высшая школа – Коллеж де Франс); жестоко преследовал сторонников реформации и еретиков. При нем в 1546 г. был сожжен выступавший против религиозного фанатизма как католиков, так и протестантов ученый-филолог Этьен Доле. Франциск вел бесконечные войны с Карлом V (см. примеч. к с. 38).

Карл надолго задержался в Балансьенне<sup>50</sup> и все это время не показывал виду, что гневается. Его родной Гент жил спокойно, будучи уверен, что император простит ему его законное действие.

Карл, однако ж, с четырьмя тысячами всадников подступал к стенам города. С ним были Альба<sup>51</sup> и принц Оранский<sup>52</sup>. Простой народ и мелкие ремесленники сговорились не допустить этого сыновнего визита, для чего подняли на ноги восемьдесят тысяч горожан и селян. Однако заживевшие купцы, так называемые *hooghooper*'ы<sup>53</sup>, из страха, что народ возьмет власть в свои руки, воспротивились. А между тем Гент вполне мог бы разбить в пух и прах своего сына и его четыре тысячи всадников. Но Гент любил своего сына; даже ремесленники и те вновь в него поверили.

Карл же любил не самый Гент, а те деньги, которые он от него получил в свое время, но этих денег ему было мало.

Овладев городом, он всюду расставил караулы и нарядил дозоры, которые днем и ночью должны были обходить улицы. Затем он с великой торжественностью объявил свой приговор.

Именитым гражданам вменялось в обязанность явиться с веревкой на шею к его престолу и всенародно принести повинную. Генту были предъявлены самые убыточные для него обвинения, как-то: в измене, несоблюдении соглашений, неподчинении, мятеже, бунте, оскорблении величества. Император отменил все и всяческие льготы, права, вольности, порядки и обычаи города Гента и, подобно Господу Богу, предначертал ему его будущее: отныне, согласно его именному указу, наследующие ему будут при восшествии на престол давать присягу в том, что они неуклонно соблюдают грамоту, которую Карл пожаловал городу Генту<sup>54</sup>, – грамоту на его вечное порабощение.

Он сровнял с землей Сен-Бавонское аббатство, а на его месте построил крепость, откуда можно было беспрепятственно осыпать родной город ядрами.

Как любящий сын, спешащий завладеть наследством, он отобрал все имущество и все доходы Гента, дома, орудия и боевые припасы.

Найдя, что город слишком хорошо защищен, он велел снести Красную башню, башню в Жабьей норе, Браампоорт, Стинпоорт, Ваальпоорт, Кетельпоорт и много других строений, славившихся своими изваяниями и филигранной резьбой.

Когда потом в Гент заезжали иностранцы, они спрашивали друг друга:

– Почему нам про этот скучный, ничем не примечательный город рассказывали чудеса?

А гентцы отвечали:

– Император Карл снял с города его драгоценный пояс.

При этом они испытывали стыд и гнев.

<sup>50</sup> *Балансьенн* – нидерландский город близ французской границы, где в январе – феврале 1540 г. по пути в Гент останавливался Карл V. Карл здесь проводил время в празднествах. Послы из мятежного Гента даже не были допущены в город, так как в Балансьенн с Карлом прибыли сопровождавшие его французские сановники и «не следовало, чтобы иноземцы знали правду о гентских делах».

<sup>51</sup> *Альба*, Фердинанд Альварес де Толедо, герцог (1507–1582) – один из военачальников и советников Карла V, а впоследствии Филиппа II. Чванный кастильский дворянин и свирепый фанатик, он презирал и ненавидел «недосожженных еретиков» нидерландцев, которые платили ему тем же. «Здесь так ненавидят Альбу, – писала испанская наместница Нидерландов Маргарита Пармская, – что одного его появления будет совершенно достаточно, чтобы ненависть распространилась на всю испанскую нацию». Кровавое наместничество Альбы (1567–1573), сменившего Маргариту, вошло в историю Нидерландов как самое мрачное для страны время.

<sup>52</sup> *Принц Оранский* – здесь Рене Нассау-Шалонский, унаследовавший титул принца Оранского от мужа своей сестры Филиппа; близкий друг и советник Карла V. Умер в 1544 г. и завещал свой титул двоюродному брату, одиннадцатилетнему Вильгельму из Нассау-Диленбургского дома, будущему деятелю Нидерландской революции.

<sup>53</sup> Буквально: хозяева высоких ворот (*флам.*).

<sup>54</sup> ...*грамоту, которую Карл пожаловал городу Генту*... – «*Concessio Carolina*» от 30 апреля 1540 г., документ, определявший правовое положение города и его жителей после подавления восстания. Вся административно-политическая система городского устройства была, согласно этой грамоте, перестроена с целью подчинить городское самоуправление королевскому правительству.

Император распорядился употребить кирпич, оставшийся от разрушенных зданий, на постройку крепости.

Он положил дотла разорить Гент, дабы трудолюбие горожан, дабы промышленность и денежные средства города не помешали его, Карла, честолюбивым замыслам. С этой целью он повелел городу уплатить невнесенную дань в размере четырехсот тысяч червонцев, сверх того уплатить сто пятьдесят тысяч королю одновременно, а помимо этого городу надлежало ежегодно уплачивать шесть тысяч. Когда-то Гент дал императору денег взаймы. Карл обязался выплачивать городу сто пятьдесят ливров ежегодно. Теперь Карл отобрал у Гента свои долговые обязательства. При таком способе платить долги Карл, естественно, разбогател.

Гент неоднократно выказывал ему свою любовь, не раз выручал его, но Карл вонзил ему в грудь кинжал. Ему уже недостаточно было отцовской поддержки – ему нужна была отцовская кровь.

Немного погодя он остановил свое внимание на красивом колоколе «Роланде». Он приказал повесить на его языке того, кто ударил в набат, призывая город к защите своих прав. Он не пощадил и «Роланда», не пощадил язык своего отца, язык, которым тот говорил с Фландрией, – «Роланда», гордый колокол, который сам о себе сказал так:

Если слышен мой гул – значит, где-то горит,  
Если звон – стране ураган грозит.

Найдя, что его отец говорит слишком громко, он снял колокол. И тогда пошла среди окрестных сельчан молва: Гент умер, оттого что сын железными клещами вырвал у него язык.

## 29

В один из ясных и свежих весенних дней, когда вся природа полна любви, Сооткин шила у открытого окна, Клаас что-то напевал, а Уленшпигель натягивал на Тита Бибула Шнуффия судейскую шапочку. Пес преважно поднимал лапу, как будто выносил кому-то приговор, а на самом деле просто пытался стащить с себя украшение.

Внезапно Уленшпигель, захлопнув снаружи окно, вбежал в комнату и, растопырив руки, запрыгал по стульям и столам. Наконец Сооткин и Клаас сообразили, что всю эту возню он затеял для того, чтобы поймать прелестную маленькую птичку, которая прижалась к ребру потолочной балки и, трепеща крылышками, издавала испуганный писк.

Уленшпигель совсем уж было до нее дотянулся, как вдруг его окликнул Клаас:

– Ты чего прыгаешь?

– Хочу поймать птичку, – отвечал Уленшпигель, – потом я посажу ее в клетку, дам ей зерен, и пусть она поет мне песни.

Птичка между тем с жалобным писком летала по комнате и билась головкой об оконные стекла.

Уленшпигель опять было запрыгал, но Клаас положил ему на плечо свою тяжелую руку.

– Что ж, лови ее, – сказал он, – сажай в клетку, и пусть она поет тебе песни, ну а я тебя самого посажу в клетку с толстыми железными прутьями и заставлю петь. Ты любишь бегать, а тогда уж не побегаешь. Будет холодно, а ты сиди себе в тени; будет жарко – сиди на солнцепеке. Потом как-нибудь в воскресенье мы уйдем, забудем оставить тебе еды и вернемся не раньше четверга, а когда вернемся, то увидим, что наш Тиль протянул лапки – умер с голоду.

Сооткин плакала. Уленшпигель рванулся.

– Ты куда? – спросил Клаас.

– Сейчас отворю птичке окно, – отвечал Уленшпигель.

И точно: птичка, оказавшаяся щеглом, выпорхнула в окно и с радостным криком полетела стрелой, затем опустилась на ближнюю яблоню, расправила крылышки, почистила клювиком перышки, потом вдруг рассердилась и на своем птичьем языке осыпала Уленшпигеля бранью. И тут Клаас сказал Уленшпигелю:

– Сын мой, никогда не лишай свободы ни человека, ни животное – свобода есть величайшее из всех земных благ. Предоставь каждому греться на солнце, когда ему холодно, и сидеть в тени, когда ему жарко. И пусть Господь Бог судит его святейшее величество за то, что он сперва заковал в цепи свободную веру во Фландрии, а потом засадил в клетку рабства доблестный Гент.

## 30

Женившись на Марии Португальской<sup>55</sup>, Филипп принял ее владения под свой скипетр. Она родила ему дона Карлоса, жестокого безумца. Но Филипп не любил свою жену!

Роды у королевы были неблагополучные. Окруженная придворными дамами, среди которых была герцогиня Альба, она лежала на одре болезни.

Филипп часто покидал ее и шел смотреть, как жгут еретиков. Придворные, и мужчины и женщины, брали с него пример. В частности, так поступала знатная сиделка королевы, герцогиня Альба.

Как раз в то время инквизиция осудила одного фламандского скульптора католического вероисповедания: один монах не уплатил ему обещанных денег за деревянное изображение Божьей Матери, а скульптор сказал, что он лучше уничтожит свое творение, но за гроши не отдаст, и изрезал резцом весь лик.

Монах донес, что он святотатец, его пытали без всякого милосердия и приговорили к сожжению на костре.

Во время пытки ему сожгли подошвы ног, и по дороге из тюрьмы на костер скульптор, облаченный в сан-бенито<sup>56</sup>, все кричал:

– Отрубите мне ноги! Отрубите мне ноги!

Филипп издали слышал эти вопли, они доставляли ему наслаждение, но смеяться он не смеялся.

Придворные дамы покинули королеву Марию, дабы присутствовать при сожжении. После всех, оставив королеву одну, ушла герцогиня Альба – услышав вопли фламандского скульптора, она возымела желание непременно полюбоваться этим забавным зрелищем.

Когда Филипп и все его приближенные – князья, графы, дворяне и дамы – были в сборе, фламандского скульптора длинной цепью приковали к столбу, стоявшему в центре огненного круга из пучков соломы и вязанок хвороста, так что осужденный мог при желании держаться поближе к столбу, подальше от самого жара, и жечься на медленном огне. И все с любопытством смотрели, как он, почти голый, напрягает все свои душевные силы в борьбе с нестерпимой мукой.

А в это время королеве Марии захотелось пить. На блюде лежала половина дыни. Кое-как добрела она до стола, взяла кусок дыни и весь его съела.

От холодной дыни ее зазнобило, она вся покрылась ледяным потом и бессильно опустилась на пол.

---

<sup>55</sup> Женившись на Марии Португальской... – Филипп II женился на Марии Португальской в 1543 г. Рождение дона Карлоса и смерть Марии относятся к 1545 г. Дон Карлос с детства был отмечен печатью вырождения, а в ранней юности у него стали появляться признаки умственного расстройства. О его судьбе Костер рассказывает в третьей книге романа (глава 24).

<sup>56</sup> Сан-бенито – длинный полотняный балахон, одеяние осужденных инквизицией. На сан-бенито присужденного к смерти изображались языки пламени.

– Ах! – простонала она. – Хотя бы кто-нибудь перенес меня на кровать – я бы согрелась! Но тут до нее долетел вопль несчастного скульптора:

– Отрубите мне ноги!

– Ай! – воскликнула королева Мария. – Что это? Собака воет перед моей смертью?

В это мгновение скульптор, обведя глазами толпу и увидев одни свирепые лица испанцев, подумал о Фландрии – стране мужественных людей, – скрестил на груди руки и, влача за собой длинную цепь, направился прямо к горящей соломе и хворосту, а затем бестрепетно взошел на костер.

– Так умирают фламандцы на глазах у испанских палачей! – воскликнул он. – Отрубите ноги, но не мне, а им, чтобы они больше не сбегались на казни! Да здравствует Фландрия! Да здравствует во веки веков!

И тут все дамы, потрясенные твердостью его духа, наградили его рукоплесканиями и стали просить, чтобы скульптора пощадили.

Но скульптор умер.

Королева Мария дрожала всем телом, рыдала, зубы у нее стучали от холода близкой смерти, наконец, вытянув руки и ноги, она проговорила:

– Положите меня в постель, я хочу согреться!

И умерла.

Так, оправдывая предсказание доброй колдуньи Катлины, Филипп всюду сеял смерть, слезы и кровь.

## 31

А Уленшпигель и Неле были без памяти влюблены друг в друга.

Апрель подходил к концу, все деревья цвели, все растения, набухая соками, ожидали мая, а май всегда слетает на землю радужный, как павлин, душистый, как букет цветов, и при его появлении запевают в садах соловьи.

Уленшпигель и Неле часто гуляли вдвоем. Неле прижималась к Уленшпигелю, держалась за него обеими руками. Уленшпигелю это было приятно; он обнимал ее за талию и говорил: «Так еще крепче будет». Ей это тоже доставляло удовольствие, но она молчала.

По дорогам лениво кружил ветерок, напоенный ароматами луга. Вдали под лучами солнца томно рокотало море. Уленшпигель был горд, как молодой бесенок, а Неле стыдилась своего блаженства, как юная святая в раю.

Она склоняла головку к нему на плечо, а он брал ее руки и на ходу целовал в лоб, в щеки, в хорошенькие губки. Но она все молчала.

Некоторое время спустя они, изнемогая от зноя, от жажды, заходили в деревню напиться молока, но это их не освежало.

Они садились на траву у обрыва. Неле была бледна и задумчива, Уленшпигель с тревогой глядел на нее.

– Тебе грустно? – спрашивала она.

– Да, – отвечал он.

– Отчего? – допытывалась она.

– Сам не знаю, – отвечал он. – Но только эти яблони и вишни в цвету, душный воздух, как перед грозой, маргаритки, розовеющие в лугах, белый-белый боярышник, которым окружен наш сад... Да нет, разве поймешь, откуда это томление, почему мне хочется не то умереть, не то уснуть? Когда я слышу, как поутру на ветвях гомозятся птички, когда я вижу, что прилетели ласточки, сердце у меня готово выпрыгнуть из груди. Меня тянет взлететь выше солнца и

месяца. Меня бросает то в жар, то в холод. Ах, Неле, как бы я хотел унести прочь от земли! Или нет: я хотел бы отдать не одну, а тысячу жизней ради той, которая меня полюбит...

А Неле молча смотрела на Уленшпигеля и вся сияла от счастья.

## 32

В день поминовения усопших Уленшпигель вместе с несколькими озорниками, своими однолетками, вышел из собора. Ламме Гудзак в этой компании напоминал ягненка в стае волков.

Мать Ламме по воскресным и праздничным дням давала сыну три патара, и сегодня он решил потряхнуть мощной и угостить приятелей.

С этой целью он их повел *in den Rooden Schildt*, в «Красный Щит» к Яну ван Либекке, и спросил куртрейского *dobbel-knollaert'a*.<sup>57</sup>

Пиво развязало языки, и, когда речь зашла о молитвах, Уленшпигель прямо заявил, что заупокойные службы выгодны только попам.

На беду, в их компанию затесался иуда – он донес, что Уленшпигель еретик. Невзирая на слезы Сооткин и настойчивые просьбы Клааса, Уленшпигеля схватили и бросили в тюрьму. Месяц и три дня сидел он в подвале, за решеткой, не видя живой души. Тюремщик съедал три четверти того, что Уленшпигелю полагалось из еды. За это время были наведены справки о том, какие за ним водятся добрые и худые дела. По справкам оказалось, что это всего-навсего злой насмешник, любящий дурачить честной народ, но что никогда не изрыгал он хулы ни на Пречистую Деву, ни на святых угодников. По сему обстоятельству приговор был вынесен мягкий, в противном же случае ему выжгли бы на лбу клеймо и бичевали бы до крови.

Суд принял в соображение его несовершеннолетие, и Уленшпигель отделался тем, что в первом же крестном ходу он шел за духовенством босиком, с непокрытой головой, в одной рубахе, и держал в руке свечу.

Было это на Вознесение.

Когда же процессия снова приблизилась к соборной паперти, Уленшпигель во исполнение все того же приговора остановился и воскликнул:

– Благодарю тебя, Господи Иисусе! Благодарю вас, отцы иереи! Ваши молитвы отрадны для душ, томящихся в чистилище, отрадны и освежительны, ибо каждая «Богородица» – это ведро воды, изливающееся на их спины, а каждый «Отче наш» – это целый ушат.

Народ внимал ему с великим благоговением, хоть и посмеиваясь в кулак.

В Троицын день Уленшпигелю еще раз надлежало пройти с крестным ходом. Опять он был в одной рубашке, босиком, с непокрытой головой и держал в руке свечу. На обратном пути он остановился у входа в собор и, набожно держа свечу, что не мешало ему, однако, строить уморительные рожи, сказал громко и внятно:

– Молитва каждого христианина несказанно облегчает душу, томящуюся в чистилище, молитва же настоятеля нашего собора, человека святого, всеми добродетелями украшенного, мгновенно гасит палящий огонь чистилища и превращает его в шербет. Но бесам, терзающим грешников, ни капельки не достается.

И опять народ внимал ему с великим благоговением, хоть и посмеиваясь в кулак, настоятель же улыбался улыбкой довольной и благостной.

После этого Уленшпигель был изгнан на три года из Фландрии, причем возвратиться на родину он имел право только в том случае, если за это время он совершит паломничество в Рим и если папа дарует ему отпущение грехов.

---

<sup>57</sup> Сорт крепкого пива (флам.).



Клаас уплатил за приговор три флорина, а еще один флорин дал на дорогу Уленшпигелю и одел его, как приличествует паломнику.

Горько было Уленшпигелю прощаться с Клаасом и Сооткин – со своей скорбящей и плачущей матерью. Родители да несколько горожан и горожанок проводили его далеко.

Вернувшись в свою лачугу, Клаас сказал Сооткин:

– Уж больно они его строго, жена, – подумаешь, сболтнул малый сдуру!

– Ты плачешь, муженек? – молвила Сооткин. – Ты только никогда не показываешь, а, стало быть, крепко его любишь: ведь рыдания мужчины – это все равно что плач льва.

Но он ничего не сказал ей в ответ.

Неле забилась в сарай, чтобы никто не видел, что она плачет об Уленшпигеле. На ростанях она шла позади Клааса, Сооткин, горожан и горожанок. Когда же Уленшпигель зашагал один, она догнала его и бросилась к нему на шею.

– Ты встретишь много красивых дам, – сказала она.

– Красивых – может быть, но таких свежих, как ты, не встречу, – возразил Уленшпигель, – они все изжарились на солнце.

Уленшпигель и Неле долго шли вместе. Уленшпигель был занят своими мыслями и лишь по временам ронял:

– Заплатят они мне за свои заупокойные службы!

– Какие службы? Кто заплатит? – допытывалась Неле.

Наконец Уленшпигель ответил ей так:

– Все настоятели, приходские и домашние священники, пономари и всякое прочее поповское отродье – все, кто нас морочит. Если б я был работягой, они бы из-за этого паломничества лишили меня плодов трехлетнего труда. В убытке бедный Клаас. Ну, они мне сторицей заплатят за эти три года, и я еще помяну их за упокой, да на их же денежки!

– Полно, Тиль, будь осторожен, а то они тебя на костре сожгут, – молвила Неле.

– Я в огне не горю, – возразил Уленшпигель.

И тут они расстались: она в слезах, а он – удрученный и озлобленный.

### 33

В Брюгге, куда Уленшпигель попал в среду, в базарный день, он увидел, что по рыночной площади палач и его подручные волокут женщину, за которой следует толпа других женщин, вопящих и осыпаящих ее зазорной бранью.

Разглядев полосы красной материи, пришитые к ее одежде на спине и груди, разглядев у нее на шее камень правосудия, висевший на железной цепи, Уленшпигель догадался, что эта женщина торговала юным и свежим телом своих дочерей. Ему сказали, что зовут ее Барб, что она замужем за Язоном Дарю, что в этом одеянии ей надлежит обойти все площади и в конце концов вернуться на Большой рынок, где для нее уже воздвигнут эшафот. Уленшпигель пошел за галдевшей толпой. Как скоро преступница вернулась на Большой рынок, ее заставили взойти на эшафот и привязали к столбу, после чего палач насыпал у ее ног земли, а сверху травы, что должно было означать могилу.

Еще Уленшпигелю сказали, что ее уже секли в тюрьме.

Далее ему повстречался Генри Кузнец, проходимец и побирушка, всех уверявший, будто его вешали в Вест-Ипрском кастелянстве, и показывавший на шее ссадины от веревок. Свое «чудесное избавление» он изображал таким образом: повиснув в воздухе, он усердно помолился Галльской Божьей Матери, и в то же мгновение судьи удалились, веревка, уже не душившая его, лопнула, а он сам грохнулся наземь и спасся.

Однако позднее Уленшпигель узнал следующее: этому избавившемуся от петли проходимцу, выдававшему себя за Генри Кузнеца, не возбранялось рассказывать небылицы по той

причине, что он запасся грамотой от настоятеля собора Галльской Божьей Матери, настоятель же снабдил его грамотой за то, что благодаря рассказам мнимого Генри Кузнеца в собор отовсюду стекались и делали изрядные вклады все те, кто чуял виселицу более или менее близко от себя. И долго потом Галльская Божья Матерь именовалась заступницей повешенных.

## 34

Между тем инквизиторы и богословы вторично заявили императору Карлу: что церковь гибнет; что влияние ее падает; что славными своими победами он обязан молитвам католической церкви, которая является верной опорой его могущественной державы.

Один испанский архиепископ потребовал, чтобы его величество отрубил шесть тысяч голов или сжег столько же тел, дабы искоренить в Нидерландах зловредную Лютерову ересь<sup>58</sup>. Его святейшее величество нашел, что этого еще мало.

Вот почему, куда бы ни заходил бедный Уленшпигель, всюду с ужасом видел он срубленные головы на шестах, видел, как на девушек накидывали мешки и бросали в реку, видел, как голых мужчин, растянутых на колесе, били железными палками, как женщин зарывали в землю и как палачи плясали на них, чтобы раздавить им грудь. За каждого из тех, кого удавалось привести к покаянию, духовники получали двенадцать солей.

В Лувене он видел, как палачи зажгли костер пушечным порохом и как на этом костре погребло тридцать лютеран сразу. В Лимбурге он видел, как целая семья – мужья и жены, дочери и зятья – с пением псалмов взойшла на костер. Во время казни только у одного старика вырвался крик.

А Уленшпигель, уstraшенный и удрученный, шел все дальше и дальше по этой несчастной земле.

## 35

В полях он отряхивался, как птица, как спущенная с цепи собака. При виде лугов, деревьев и ясного солнца на душе у него становилось легче.

Три дня спустя вошел он в богатое село Уккле, под Брюсселем. Возле гостиницы «Охотничий Рог» его остановил дивный запах жаркого. Он спросил юного попрошайку, который, задрав нос, с наслаждением втягивал аромат приправ, в честь чего поднимается к небу сей праздничный фимиам. Попрошайка ответил, что после вечерни сюда должны прийти члены Братства «Толстая Морда», дабы отпраздновать годовщину освобождения Уккле, в стародавние времена совершенного женщинами и девушками.

Увидев издали шест с попугаем<sup>59</sup>, а вокруг шеста – женщин, вооруженных луками, Уленшпигель спросил, давно ли бабы стали лучниками.

Попрошайка, по-прежнему вдыхая аромат приправ, ответил, что при Добром Герцоге укклейские бабы с помощью таких же вот луков отправили на тот свет более ста лиходеев.

Уленшпигель хотел еще кое о чем его расспросить, однако попрошайка объявил, что он алчет и жаждет и не вымолвит ни единого слова, пока не получит патар на выпивку и закуску. Уленшпигель из жалости выдал ему таковой.

---

<sup>58</sup> ...дабы искоренить в Нидерландах... Лютерову ересь. – Мартин Лютер (см. примеч. к с. 42), выступивший в Германии в 1517 г., вскоре приобрел приверженцев и в Нидерландах. Широкого распространения здесь его учение, однако, не получило. Лютеран можно было встретить лишь среди образованных людей, зажиточных горожан и оппозиционно настроенных дворян, желавших раздела церковных и монастырских земель. После 1540 г. активная пропаганда лютеран в Нидерландах прекращается, общины их распадаются, уступая поле деятельности новому реформационному учению – кальвинизму. Однако католики, говоря о «Лютеровой ереси», могли иметь в виду протестантизм вообще.

<sup>59</sup> Шест с попугаем – традиционная мишень для состязаний в меткости стрельбы.

Попрошайка схватил патар, проскользнул, точно лиса в курятник, в «Охотничий Рог» и тотчас же возвратился оттуда с победой, держа в руках полкруга колбасы и краюху хлеба.

Тут слышались приятные звуки тамбуринов и виол, а вслед за тем Уленшпигель увидел многое множество пляшущих женщин и среди них – красотку с золотой цепочкой на шее.

Попрошайка, с лица которого не сходила теперь, после того как он наелся, блаженная улыбка, пояснил Уленшпигелю, что юная красotka – царица всех лучниц, что зовут ее Митье и что она замужем за местным старшиной, мессиром Ренонкелем. Затем он попросил у Уленшпигеля еще шесть лиаров на выпивку – Уленшпигель и в этом ему не отказал. Выпив и закусив, попрошайка уселся на солнышке и принялся ковырять в зубах.

Как скоро Уленшпигель привлек внимание поселянок странническим своим одеянием, они тотчас же заплясали вокруг него, приговаривая:

– Здравствуй, пригожий богомолец! Издалека ли ты, богомолец молоденький?

Уленшпигель же на это ответил так:

– Я иду из Фландрии, из прекрасного края, где много влюбленных девушек.

При этом он с грустью подумал о Неле.

– Какой же ты грех совершил? – спросили они, перестав плясать.

– Грех мой так велик, что я не смею его назвать, – отвечал он. – Зато у меня есть еще кое-что, и тоже изрядной величины.

Бабенки прыснули и спросили, почему он странствует с посохом, с сумой и с прочими принадлежностями.

– Я сказал, что заупокойные службы выгодны только попам, вот и вся моя вина, – слегка прилгнув, отвечал он.

– За службы попы правда получают звонкой монетой, но службы приносят пользу душам в чистилище, – заметили они.

– Я там не был, – возразил Уленшпигель.

– Хочешь закусить с нами, богомолец? – спросила самая миловидная лучница.

– Хочу закусить с вами, – отвечал Уленшпигель, – хочу закусить тобой и всеми остальными по очереди: ведь вы самое лакомое блюдо, какое только можно себе представить, – куда там ортоланы, дрозды и бекасы!

– Господь с тобой! – воскликнули лучницы. – Да этой дичи цены нет.

– Вам тоже, красавицы, – ввернул Уленшпигель.

– Да ведь мы не продаемся, – сказали они.

– Стало быть, даром даете? – спросил Уленшпигель.

– Даем, – отвечали они, – наглецам по шее. Хочешь, мы тебя сейчас измолотим, как сноп?

– Нет уж, увольте, – сказал Уленшпигель.

– То-то! Пойдем-ка лучше закусим, – предложили они.

Они повели его во двор гостиницы, а он не отрывал веселых глаз от их юных лиц. Неожиданно во двор с великой торжественностью под звуки трубы, дудки и тамбурина, развернув стяг, вошли члены Братства «Толстая Морда», все до одного – откормленные, вполне оправдывавшие уморительное это название. Они с изумлением уставились на Уленшпигеля, но женщины поспешили им сообщить, что странник встретился им на улице и морда его показалась им подходящей, вроде как у всех ихних женихов и мужей, а потому они пригласили его на праздник.

Мужчины одобрили их, и один из них обратился к Уленшпигелю:

– А что, странствующий странник, не желаешь ли ты постранствовать по жарким и подливкам?

– У меня есть сапоги-скороходы, – отвечал Уленшпигель.

Направляясь в пиршественную залу, Уленшпигель заметил, что по парижской дороге бредут двенадцать слепцов. Когда же они прошли мимо него, жалуясь на голод и жажду, он

решил по-царски накормить их ужином за счет укклеийского священника и в память о заупокойных службах.

Он приблизился к ним и сказал:

– Вот вам девять флоринов. Пойдемте закусим! Чуете запах жаркого?

– Мы его за полмили почуяли, но, увы! без всякой надежды, – отвечали они.

– На девять флоринов можно наесться, – сказал Уленшпигель.

На руки он им денег, однако, не дал.

– Спаси Христос, – поблагодарили слепцы.

Уленшпигель подвел их к небольшому столу, меж тем как вокруг большого рассаживались члены Братства «Толстая Морда» со своими женами и дочерьми.

– Хозяин! – твердо рассчитывая на девять флоринов, с независимым видом молвили нищие. – Дай нам всего самого лучшего из еды и питья.

Трактирщик слышал разговор о девяти флоринах; будучи уверен, что деньги у них в кошельках, он спросил, чего бы им подать.

Тут все они загалдели наперебой:

– Гороху с салом, рагу из говядины, из телятины, из барашка, из цыплят! – А сосиски для собак, что ли? – А кто, внезапно почуяв запах колбасы, все равно – кровяной или же ливерной, не схватит ее за шиворот? Я ее видел – увы! – когда глаза мои мне еще светили. – А *koekebakk*'и<sup>60</sup> на андерлехтском масле есть? На сковородке они шипят, на зубах хрустят, съел – и кружку пива хлоп, съел – и кружку пива хлоп! – А мне яичницу с ветчиной или ветчину с яичницей, верных подруг моей глотки! – А дивные *choesel*'и<sup>61</sup> есть? Эти горделивые мяса плавают среди почек, петуших гребешков, телячьих желез, бычьих хвостов, бараньих ножек, среди уймы луку, перцу, гвоздики, мускату, и все это долго тушилось, а соус к ним – три стакана белого вина. – Нет ли у вас божественной вареной колбасы? Она такая кроткая, что, когда ее лопаешь, – она – ни слова. Попадает она к нам прямо из *Luytleckerland*'а<sup>62</sup>, из сытного края блаженных бездельников, вылизывателей бессмертных подливок. Но где вы, листья осени минувшей? – Мне жареной баранины с бобами! – А мне свиные султаны, сиречь ушки! – А мне четки из ортоланов, только пусть там вместо «Отче наш» будут бекасы, а вместо «Верую» – жирный каплун.

На это им трактирщик с невозмутимым видом сказал:

– Вам подадут яичницу из шестидесяти яиц, путеводными столбами для ваших ложек послужат пятьдесят жареных дымящихся колбасок, которые увенчают эту гору снеди, омывать же ее будет целая река *dobbelpeterman*'а.<sup>63</sup>

У бедных слепцов потекли слюнки.

– Давай нам скорей и гору, и столбы, и реку, – сказали слепцы.

А члены Братства «Толстая Морда» и их супруги, сидя вместе с Уленшпигелем, толковали о том, что для слепых это пирушка невидимая и что бедняги теряют половину удовольствия.

Как скоро трактирщик и четыре повара принесли яичницу, процветшую петрушкой и настурцией, слепцы набросились на нее и стали хватать руками, но трактирщик, хоть и не без труда, разделил ее поровну и разложил по тарелкам.

Лучницы невольно расчувствовались, видя, как изголодавшиеся слепцы, причмокивая от удовольствия, глотают колбаски, точно устрицы. *Dobbelpeterman* низвергался к ним в желудки, будто водопад с высокой горы.

<sup>60</sup> Блины (флам.).

<sup>61</sup> Тушеное мясо кусочками (флам.).

<sup>62</sup> Во фламандском фольклоре – сказочная страна с молочными реками и кисельными берегами.

<sup>63</sup> Сорт крепкого пива (флам.).

Подчистив тарелки, они тотчас же потребовали *koekbakk*’ов, ортоланов и еще какого-нибудь жаркого.

Вместо этого трактирщик принес им огромное блюдо с отменной подливой, в коей плавали бычьи, телячьи и бараньи кости. По тарелкам он их уже не раскладывал.

Обмакнув куски хлеба в подливку, а затем погрузив в нее руки по локоть, слепцы извлекали оттуда обглоданные телячьи и бараньи ребра да лопатки, даже бычьи челюсти, но ничего больше, по каковой причине каждому пришлось в голову, что все мясо захватил сосед, и они принялись изо всех сил лупить друг друга костями по лицу.

Члены Братства «Толстая Морда», от души посмеявшись, в конце концов сжалились над слепцами и переложили часть своей снеди к ним на блюдо, и теперь уже слепцы, нашаривая себе оружие в виде кости, натыкались кто на дрозда, кто на цыпленка, кто на жаворонка, а кто и на двух сразу, меж тем как жалостливые бабочки запрокидывали им головы и, не жалея, лили в глотки брюссельское вино, слепцы же, стараясь нащупать, откуда льются потоки амброзии, хватили бабочек за юбки и ташили к себе. Но юбки мгновенно выскальзывали у них из рук.

Итак, слепцы хохотали, жрали, хлестали, распевали. Иные, почуяв женщин, в порыве страсти бегали как сумасшедшие по комнате, но плутовки увертывались и, прячась за *толстомордых братьев*, кричали: «Поцелуй меня!» Слепцы целовали, да только не женское личико, а какого-нибудь бородача, и при этом неукоснительно получали тычка.

*Толстомордые братья* тоже затянули песню. И развеселившиеся бабочки, глядя на их веселье, улыбались довольной и умиленной улыбкой.

Хозяин, решив, что слепцам пора кончать гульбу, сказал:

– Поели, попили, а теперь с вас семь флоринов.

Слепцы всполошились: каждый клялся, что деньги не у него, и кивал на соседа. Тут снова возгорелась между ними битва, один норовил ткнуть другого кулаком, каблуком, башкой, но они все промазывали, так как *толстомордые братья*, видя, что дело скверно, стали их разнимать. Удары сыпались впустую, за исключением одного, который, как на грех, пришелся по лицу хозяину, – тот, расвирепев, учинил слепцам повальный обыск, но не обнаружил ничего, кроме старого нарамника, семи ливров, трех брючных пуговиц да четок.

Тогда хозяин решил загнать их всех в свиной хлев и держать там на хлебе и воде, пока они с ним не расплатятся.

– Хочешь, я за них поручусь? – обратился к нему Уленшпигель.

– Хочу, – отвечал хозяин, – но только если кто-нибудь поручится за тебя.

Вызвались *толстомордые*, но Уленшпигель это отклонил.

– За меня поручится священник, – сказал он, – я сейчас пойду к нему.

Памятуя о заупокойных службах, он пришел к местному священнику и сказал, что хозяин «Охотничьего Рога», будучи одержим бесом, толкует лишь о свиньях да о слепых: то свиньи у него пожрали слепцов, то слепцы пожрали свиней, и все это ему, дескать, мерещится в богомерзком образе всевозможных жарких и фрикасе. Во время этих припадков хозяин будто бы все у себя переколотил. Того ради Уленшпигель молит-де его преподобие спасти несчастного от злого демона.

Священник пообещал прийти, но только не сейчас: дело в том, что он подсчитывал доходы причта и при этом старался отхватить львиную долю.

Видя, что священнику сейчас не до того, Уленшпигель объявил, что придет к нему с трактирщицей – пусть, мол, он с ней поговорит.

– Приходите, – сказал священник.

Уленшпигель вернулся к трактирщику и сказал:

– Я только что был у священника – он согласен поручиться за слепых. Покарауйте их пока, а хозяйка пусть пойдет со мной к священнику – он ей подтвердит.

– Сходи, жена, – сказал хозяин.

Хозяйка пошла с Уленшпигелем к священнику, а тот все еще высчитывал, как бы это ему побольше выгадать. Когда они вошли к нему, он сердито замахал на них руками, чтобы они удалились, и сказал трактирщице:

– Не беспокойся, дня через два я помогу твоему мужу.

По дороге в «Охотничий Рог» Уленшпигель сказал себе: «Он уплатит семь флоринов, и это будет моя первая заупокойная служба».

И он и слепые поспешили покинуть трактир.

## 36

На другой день Уленшпигель пристал к толпе богомольцев, двигавшейся по большой дороге, и узнал от них, что в Альземберге нынче богомолье.

Нищие старухи шли босиком, задом наперед – они подрядились за флорин искупить грехи каких-то знатных дам. По краям дороги под звуки скрипиц, альтов и волюнок паломники обжирались мясом и натягивались *bruinbier*’ом. Аппетитный запах рагу благовонным дымом возносился к небу.

Другие богомольцы, разутые, раздетые, шли тоже задом наперед, за что получали от церкви шесть солей.

Какой-то лысый коротышка с вытаращенными глазами и свирепым выражением лица прыгал за ними тоже задом наперед и все твердил молитвы.

Намереваясь вызнать, что это ему вздумалось подражать ракам, Уленшпигель стал перед ним и, ухмыляясь, запрыгал точь-в-точь как он. И вся эта пляска шла под звуки скрипиц, дудок, альтов и волюнок, под стенания и бормотание паломников.

– Эй, голова как коленка, чего это ты так бегаешь? Чтобы вернее упасть? – спросил Уленшпигель.

Человечишка ничего не ответил и продолжал бормотать молитвы.

– Наверно, хочешь узнать, сколько деревьев по краям дороги, – высказал предположение Уленшпигель. – А может, ты и листья считаешь?

Человечишка, читавший в это время «Верую», сделал знак Уленшпигелю, чтобы тот замолчал.

– А может, – не унимался Уленшпигель, все так же прыгая перед его носом и передразнивая его, – ты спятил и оттого ходишь не по-людски? Впрочем, кто добивается от дурака разумного ответа, тот сам дурак. Верно я говорю, облезлый господин?

Человечишка по-прежнему ничего ему не отвечал, а Уленшпигель продолжал прыгать и так при этом топтал, что дорога под ним гудела, как пустой ящик.

– Вы что, милостивый государь, немой? – спросил Уленшпигель.

– Богородице, Дево, радуйся... – бубнил человек, – благословен плод чрева твоего...

– А может, ты еще и глухой? – спросил Уленшпигель. – Сейчас проверим. Говорят, будто глухие не слышат ни похвалы, ни брани. Посмотрим, из чего у тебя сделаны барабанные перепонки – из кожи или из железа. Ты воображаешь, огрызок, пирог ни с чем, что ты похож на человека? Ты тогда станешь похож на человека, когда людей будут делать из тряпья. Ну где можно увидеть такую желтую харю, такую лысую башку? Только на виселице. Ты, уж верно, когда-нибудь висел?

Уленшпигель все плясал, а человечишка, придя в раж, отчаянно прыгал задом наперед, с плохо сдерживаемой яростью бормоча молитвы.

– А может, – продолжал Уленшпигель, – ты не понимаешь книжного фламандского языка? Ну так я заговорю с тобой на языке простонародья: коли ты не обжора, то пьяница, а коли не пьяница, то водохлеб, а коли не водохлеб, то у тебя лютый запор, а коли не запор, то понос, а коли нет у тебя поноса, то ты потаскун, а коли не потаскун, то каплун, а коли есть на

свете умеренность, то она обитает где угодно, только не в бочке твоего пуза, и коли на тысячу миллионов человек, живущих на земле, приходится один рогоносец – это, верно, ты.

Но тут Уленшпигель грохнулся задом об землю и задрал ноги кверху, ибо человечишка так двинул его по носу, что у него искры из глаз посыпались. Толщина не помешала человечишке в ту же минуту навалиться на Уленшпигеля и начать охаживать его. Под градом ударов, сыпавшихся на его тощее тело, Уленшпигель невольно выпустил из рук посох.

– Ты у меня забудешь, как морочить голову порядочным людям, идущим на богомолье, – приговаривал человечишка. – Я, было бы тебе известно, иду по обычаю в Альземберг помолиться Божьей Матери о том, чтобы моя жена скинула младенца, зачатого в мое отсутствие. Дабы испросить столь великую милость, надобно с двадцатого шага от своего дома и до нижней ступеньки церковной лестницы плясать молча, задом наперед. А теперь вот начинай все сначала!

Уленшпигель за это время успел поднять посох.

– А я тебя сейчас отучу, негодяй, обращаться к царице небесной с просьбой убить младенца во чреве матери! – воскликнул Уленшпигель и так отдубасил злого рогача, что тот замертво свалился на землю.

А к небу по-прежнему возносились стенания богомольцев, звуки дудок, альтов, скрипиц и волынок и, подобно чистому фимиаму, запах жареного.

## 37

Клаас, Сооткин и Неле сидели у камелька и говорили о странствующем страннике.

– Девочка! – молвила Сооткин. – Неужто чары твоей юности не могли удержать его?

– Увы, не могли! – отвечала Неле.

– Это потому, что какие-то другие чары принуждают его вечно шататься – ведь он сидит на месте, только когда трескает, – заметил Клаас.

– Бессердечный урод! – со вздохом проговорила Неле.

– Бессердечный – это правда, но не урод, – возразила Сооткин. – Если у моего сына Уленшпигеля не греческий и не римский профиль, то это еще полбеда. Зато у него фламандские быстрые ноги, острые карие глаза, как у франка из Брюгге, а нос и рот точно делали две лисы, до тонкости изучившие хитрое искусство ваяния.

– А кто сотворил его ленивые руки и его ноги, прыткие, когда его манят забавы? – спросил Клаас.

– Его еще очень юное сердце, – отвечала Сооткин.

## 38

Катлина вылечила целебными травами по просьбе Спейлмана его быка, трех баранов и свинью, но вылечить корову Яна Белуна ей не удалось. Тогда он обвинил ее в колдовстве. Он утверждал, что она испортила корову: когда она давала ей травы, то, дескать, гладила ее и говорила с ней на каком-то, очевидно, бесовском языке, ибо истинному христианину не должно разговаривать с животными.

Вышеназванный Ян Белун к этому присовокупил, что у его соседа Спейлмана она вылечила быка, баранов и свинью, а что его корову она отравила, разумеется, по наущению Спейлмана, который позавидовал, что его, Белуна, земля возделана лучше, нежели у него, и лучше родит. На основании показаний Питера Мелемейстера, человека во всех отношениях достойного, и самого Яна Белуна, засвидетельствовавших, что весь Дамме почитает Катлину за колдунью и что, вне всякого сомнения, это она отравила корову, Катлина была взята под стражу, и ее велено было пытать до тех пор, пока она не сознается в своих преступлениях и злодеяниях.

Допрашивал ее старшина, который всегда был раздражен, оттого что целый день пил водку. По его приказу Катлина предстала перед ним и перед членами *Vierschare*<sup>64</sup> и была подвергнута первой пытке.

Палач раздел ее донага, сбрил все волосы на ее теле и всю осмотрел – нет ли где какого колдовства.

Ничего не обнаружив, он привязал ее веревками к скамье.

– Мне стыдно лежать голой перед мужчинами, – сказала Катлина. – Пресвятая Богородица, пошли мне смерть!

Палач прикрыл ей мокрой простыней грудь, живот и ноги, а затем, подняв скамейку, стал вливать в горло Катлине горячую воду – и влил так много, что она вся словно разбухла. Потом опустил скамью.

Старшина спросил, признает ли Катлина себя виновной. Она знаком ответила, что нет. Палач влил в нее еще горячей воды, но Катлина все извергла.

Тогда по совету лекаря ее развязали. Она ничего не могла сказать – она только била себя по груди, давая понять, что горячая вода обожгла ее. Когда же старшина нашел, что она оправилась после первой пытки, он снова обратился к ней:

– Сознайся, что ты колдунья и что ты испортила корову.

– Нипочем не сознаюсь, – объявила Катлина. – Я люблю животных, люблю всем своим слабым сердцем, я скорей себе наврежу, только не им, беззащитным. Я лечила корову целебными травами – от них никакого вреда быть не может.

Но старшина стоял на своем:

– Ты дала корове отравы, иначе бы она не пала.

– Господин старшина, – возразила Катлина, – я сейчас вся в вашей власти и все же смею вас уверить: костоправы и лекари что человеку, что скотине не всегда помогают. Клянусь вам Христом-Богом, распятым на кресте за наши грехи, что я этой корове зла не желала – я хотела ее вылечить целебными травами.

Старшина рассвирепел:

– Вот чертова баба! Ну да она у меня сейчас перестанет запираяться! Начать вторую пытку!

С последним словом он опрокинул большущий стакан водки.

Палач посадил Катлину на крышку дубового гроба, стоявшего на козлах. Крышка, сделанная в виде кровли, оканчивалась острым щипцом. Дело было в ноябре – печка топилась вовсю.

Катлину, сидевшую на режущем деревянном щипце, как на лезвии ножа, обули в совсем новенькие тесные сапоги и пододвинули к огню. Как скоро острый деревянный щипец гроба впился в ее тело, как скоро и без того тесные сапоги от жары еще сузились, Катлина крикнула:

– Ой, больно, мочи нет! Дайте мне яду!

– Еще ближе к огню, – распорядился старшина и приступил к допросу: – Как часто садилась ты на помело и летала на шабаш? Как часто гноила хлеб на корню, плоды на деревьях, как часто губила младенцев во чреве матери? Как часто превращала родных братьев в заклятых врагов, а родных сестер – в злобных соперниц?

Катлина хотела ответить, но не могла, – она только шевельнула руками.

– Вот мы сейчас растопим ее ведьмовский жир, так небось заговорит, – произнес старшина. – Пододвиньте ее еще ближе к огню.

Катлина кричала.

– Попроси сатану – пусть он тебя охладит, – сказал старшина.

Она сделала такое движение, будто хотела сбросить дымившиеся сапоги.

– Попроси сатану – пусть он тебя разует, – сказал старшина.

---

<sup>64</sup> Судебная коллегия (флам. буквально: Четыре скамьи), собиравшаяся, по старинному обычаю, под большим деревом.



Пробило десять часов – в это время изверг обыкновенно завтракал. Он ушел вместе с палачом и писцом; в застенке у огня осталась одна Катлина.

В одиннадцать часов они вернулись и увидели, что Катлина словно одеревенела.

– Должно быть, умерла, – сказал писец.

Старшина велел палачу спустить ее с гроба и разуть. Разуть он не смог – пришлось разрезать сапоги. Ноги у Катлины были красные и все в крови.

Старшина молча смотрел на нее – он вспоминал в это время свой завтрак.

Вскоре Катлина, однако, очнулась, но тут же упала и, несмотря на отчаянные усилия, так и не смогла подняться.

– Ты меня прежде сватал, – сказала она старшине, – ну а теперь не получишь. Четырежды три – число священное, тринадцать – это суженый.

Старшина хотел что-то сказать, но она продолжала:

– Нишкни! У него слух тоньше, чем у архангела, который считает на небе стук сердца у праведников. Почему ты пришел так поздно? Четырежды три – число священное, оно убивает всех, кто меня хотел.

– Она прелюбодействует с дьяволом, – сказал старшина.

– Она сошла с ума под пыткой, – сказал писец.

Катлину увели в тюрьму. Через три дня суд старшин приговорил ее к наказанию огнем.

Палач и его подручные привели ее на Большой рынок и возвели на помост. Профос, глашатай и судьи были уже на своих местах.

Трижды протрубила труба глашатая, после чего он повернулся лицом к народу и сказал:

– Суд города Дамме сжалился над женщиной Катлиной и не стал судить ее по всей строгости закона, однако в удостоверение того, что она ведьма, волосы ее будут сожжены; кроме того, она уплатит двадцать золотых королю штрафа и немедленно покинет пределы Дамме сроком на три года; буде же она решение суда нарушит, ее приговорят к отсечению руки.

Народ рукоплескал этому жестокому снисхождению.

Палач привязал Катлину к столбу и, положив пучок пакли на ее бритую голову, поджег. Пакля горела долго, а Катлина плакала и кричала.

Наконец ее развязали и вывезли за пределы Дамме в тележке, ибо ноги ее были обожжены.

## 39

Отцы города Хертогенбос, что в Брабанте, предложили Уленшпигелю пойти к ним в шуты, но он от этой чести отказался.

– Странствующему страннику надлежит шутовать не где-нибудь на одном месте, а по трактирам и по дорогам, – сказал он.

Между тем Филипп, который был также королем Английским, вздумал посетить будущее свое наследие – Фландрию, Брабант, Геннегау, Голландию и Зеландию. Ему шел двадцать девятый год. В сероватых его глазах таились безысходная тоска, злобное коварство и свирепая решимость. Неживое было у него лицо, словно деревянная была у него голова, покрытая рыжими волосами, деревянными казались его тощее тело и тонкие ноги. Медлительна была его речь и невнятна, словно рот у него был набит шерстью.

В промежутках между турнирами, потешными боями и празднествами он обзирал веселое герцогство Брабантское, богатое графство Фландрское и прочие свои владения. Всюду он клялся не посягать на их вольности. Но когда он в Брюсселе клялся на Евангелии соблю-

дать Золотую буллу<sup>65</sup> Брабанта, рука его судорожно сжалась, и он принужден был убрать ее со Священной книги.

Ко дню его прибытия в Антверпен там было сооружено двадцать три триумфальные арки. На эти арки, на костюмы для тысячи восьмисот семидесяти девяти купцов, которых одели в алый бархат, на пышные ливреи для четырехсот шестнадцати лакеев, а также на блестящее шелковое одеяние для четырех тысяч горожан Антверпен израсходовал двести восемьдесят семь тысяч флоринов. Риторы почти всех нидерландских городов блистали здесь своим красноречием.

Здесь можно было видеть со свитой шутов и шутих Принца любви, из Турне, верхом на свинье по имени Астарта; Короля дураков, из Лилля, шествовавшего за своей лошадью, держа ее за хвост; Принца утех, из Валансьенна, который ради собственного удовольствия считал, сколько раз пукнет его осел; Аббата веселий, из Арраса, который потягивал брюссельское вино из бутылки, имевшей вид служебника, и это было для него развеселое чтение; Аббата неги, из Ата, который не очень-то нежил свое тело, ибо на нем была лишь рваная простыня да стоптанные сапоги, но зато нежил свою утробу, до отказа набивая ее колбасой; Предводителя шалых – юношу, который ехал верхом на пугливой козе и которого толпа угощала тумками, и, наконец, Аббата серебряного блюда, из Кенуа, который делал вид, что хочет усесться на блюде, привязанном к спине его лошади, и все приговаривал: «Нет такого крупного скота, который бы не изжарился на огне».

Но, несмотря на все эти невинные дурачества, король был печален и угрюм.

В тот же вечер маркграф Антверпенский, бургомистры, военачальники и священнослужители собрались на совещание, дабы придумать такую забаву, которая развеселила бы короля Филиппа.

– Вы не слыхали о Пьеркине Якобсене, шуте города Хертогенбоса, который славится как изрядный затейник? – спросил маркграф.

– Слыхали, – подтвердили все.

– Ну так пошлем за ним, – сказал маркграф, – пусть-ка он выкинет какое-нибудь колено, а то ведь у нашего шута ноги точно свинцовые.

– Пошлем, – согласились все.

Когда гонец из Антверпена прибыл в Хертогенбос, ему сообщили, что шут Пьеркин лопнул от смеха, но что здесь находится шут иноземный по имени Уленшпигель. Гонец сыскал его в таверне – тот в это время отщипывал разные лакомые кусочки и пощипывал девиц.

Уленшпигель был весьма польщен тем, что посланец антверпенской общины прискакал за ним на славном вернамбахтском коне, а другого такого же держал в поводу.

Не слезая с коня, гонец спросил Уленшпигеля, знает ли он какой-нибудь новый фокус, который мог бы рассмешить короля Филиппа.

– У меня их целые залежи под волосами, – отвечал Уленшпигель.

И они помчались. Кони, закусив удила, уносили в Антверпен Уленшпигеля и гонца.

Уленшпигель предстал перед маркграфом, обоими бургомистрами и старшинами.

– Чем ты будешь нас забавлять? – спросил маркграф.

– Буду летать, – отвечал Уленшпигель.

– Как же это ты сделаешь? – спросил маркграф.

– А вы знаете, что стоит дешевле лопнувшего мыльного пузыря? – вопросом на вопрос отвечал Уленшпигель.

– Нет, не знаю, – признался маркграф.

---

<sup>65</sup> Золотая булла (то есть грамота с золотой печатью), озаглавленная «Радостный въезд», содержала запись старинных вольностей и привилегий Брабанта и Лимбурга. С 1356 г. каждый новый герцог при торжественном въезде в свою резиденцию должен был подтверждать эти вольности.

– Разглашенная тайна, – сказал Уленшпигель.

Между тем герольды, разъезжая на славных конях в алой бархатной сбруе по всем большим улицам, по площадям и перекресткам, трубили в трубы и били в барабаны. Они оповещали *signork'ов* и *signorkinn*<sup>66</sup>, что Уленшпигель, шут из Дамме, будет летать по воздуху над набережной и что при сем присутствовать будет сам король Филипп, вместе со своей благородной, знатной и достоименитой свитой восседая на возвышении.

Возвышение стояло напротив дома в итальянском вкусе. Слуховое окошко этого дома выходило прямо на водосточный желоб, тянувшийся во всю длину крыши.

В день представления Уленшпигель проехался по городу на осле. Рядом с ним бежал на своих на двоих лакей. На Уленшпигеле был алого шелка наряд, которым его снабдила община. На голове у него был красный колпак с ослиными ушами, на которых висели бубенчики. На шее сверкало ожерелье из медных блях с гербами Антверпена. На рукавах, у локтей, позванивали бубенчики. На вызолоченных носках туфель также висели бубенчики.

Осел его был покрыт алого шелка попоной, по бокам которой был вышит золотом герб Антверпена.

Лакей одной рукой вертел ослиную голову, а другой – прут, на конце которого звякал колокольчик, снятый с коровьего ошейника.

Оставив лакея и осла на улице, Уленшпигель взобрался по водосточной трубе на крышу. Там он зазвенел бубенцами и широко расставил руки, словно собираясь лететь. Затем наклонился к королю Филиппу и сказал:

– Я думал, я единственный дурак во всем Антверпене, а теперь вижу, что их тут полным-полно. Скажи вы мне, что собираетесь лететь, я бы вам не поверил. А к вам приходит дурак, объявляет, что полетит, и вы ему верите. Да как же я могу летать, раз у меня крыльев нет?

Иные смеялись, иные бранились, но все говорили одно:

– А ведь дурак правду сказал!

Но король Филипп словно окаменел.

– Стоило для этой надутой рожи закатывать такой роскошный праздник! – перешептывались старшины.

Они силком забрали у Уленшпигеля алый шелковый наряд, заплатили ему три флорина, и он удалился.

– Что такое три флорина в кармане у молодого парня, как не снежинка в огне, как не бутылка, стоящая перед вами, беспробудные пьяницы? Три флорина! Листья опадают с деревьев, потом опять вырастают, а вот если флорины вытекут из кармана, то уж пиши пропало. Бабочки пропадают в конце лета, и флорины тоже исчезают, хотя в них два эстерлина и девять асов весу.

Так рассуждал сам с собой Уленшпигель, внимательно разглядывая три флорина.

– На лицевой стороне – император Карл в панцире и шлеме, в одной руке меч, в другой жалкенький земной шарик, – ишь какую важность на себя напустил! Божией милостью император Римский, король Испанский, и прочая, и прочая, и прочая! И в самом деле, он милостив к нашим краям, этот броненосный император. А на оборотной стороне – щит, на котором выбиты гербы его герцогств, графств и других владений и вытиснены прекрасные слова: *Da mihi virtutem contra hastes tuos*. (Пошли мне твердость духа в борьбе с врагами твоими.) И он правда был тверд в борьбе с реформатами<sup>67</sup> – отобрал у них все имущество и наложил на него

---

<sup>66</sup> Сударей и сударынь (флам.).

<sup>67</sup> Реформаты – то же, что кальвинисты, хотя здесь речь может идти о приверженцах любого реформационного учения.

лапу. Эх, будь я императором Карлом, я бы для всех людей начеканил флоринов, и все бы разбогатели, и никто бы ничего не делал.

Сколько ни любовался Уленшпигель своими красивыми монетами, а все же они под стук кружек и звон бутылок угодили в Страну мотовства.

## 40

Когда Уленшпигель в своем алом шелковом наряде появился на крыше, он не заметил Неле, с улыбкой глядевшую на него из толпы. Она жила в это время в Боргерхауте, под Антверпеном, и, узнав, что какой-то шут собирается летать в присутствии короля Филиппа, решила, что это, уж верно, не кто иной, как ее дружок Уленшпигель.

Теперь он задумчиво брел по дороге и не слышал ее торопливых шагов у себя за спиной, но вдруг почувствовал, как на глаза ему легли две руки. Он сразу узнал Неле.

– Это ты? – спросил он.

– Да, – отвечала она, – я бегу за тобой от самого города. Пойдем ко мне.

– А где Катлина? – спросил он.

– Ты ведь не знаешь: на нее наговорили, будто она ведьма, пытали, потом изгнали на три года из Дамме, обожгли ей ноги, жгли паклю на голове, – отвечала Неле. – Я тебе для того про это рассказываю, чтобы ты не испугался, когда увидишь ее, – она помешалась от нечеловеческих мучений. Она иногда часами смотрит на свои ноги и все твердит: «Ганс, добрый мой бес, погляди, что сделали с твоею милой». Ее бедные ноги – точно две язвы. Потом как заплачет: «У всех, говорит, есть мужья или возлюбленные, одна я живу вдовой!» А я ей тогда стараюсь внушить, что если она еще кому-нибудь скажет про своего Ганса, то он ее возненавидит. И она слушается меня, как ребенок, но если, не дай Бог, увидит корову или быка – она ведь из-за животных пострадала, – пустится бежать со всех ног, и тогда уже ничто ее не остановит – ни забор, ни ручей, ни канава, будет бежать до тех пор, пока не свалится в изнеможении где-нибудь на распутье или возле какого-нибудь дома, и тут я ее поднимаю и перевязываю ей израненные ноги. По-моему, когда у нее на голове жгли паклю, то и мозги ей сожгли.

У обоих при мысли о Катлине больно сжалось сердце.

Приблизившись, они увидели, что Катлина сидит около дома на лавочке и греется на солнце.

– Ты меня узнаешь? – спросил Уленшпигель.

– Четырежды три – число священное, а тринадцать – чертова дюжина, – отвечала Катлина. – Кто ты, дитя жестокого мира?

– Я – Уленшпигель, сын Клааса и Сооткин, – отвечал тот.

Катлина подняла голову и, узнав Уленшпигеля, поманила его.

– Когда ты увидишь того, чьи поцелуи холодны как лед, скажи ему, Уленшпигель, что я его жду, – прошептала она ему на ухо и, показав свою обожженную голову, продолжала: – Мне больно. Они отняли у меня разум, но когда Ганс придет, он вложит мне его в голову, а то она сейчас совсем пустая. Слышишь? Звенит, как колокол, – это моя душа стучится, просится наружу, а то ведь там, внутри, все в огне. Если Ганс придет и не захочет вложить мне в голову разум, я попрошу его проделать в ней ножом дыру, а то душа моя все стучится, все рвется на волю и причиняет мне дикую боль – я не вынесу, я умру от этой боли. Я уже не сплю, все жду его – пусть он вложит мне в голову разум, пусть вложит!

И тут она прислонилась к стене дома и застонала.

Крестьяне, заслышав колокольный звон, шли с поля домой обедать и, проходя мимо Катлины, говорили:

– Вон дурочка.

И крестились.

А Неле и Уленшпигель плакали. А Уленшпигелю надо было продолжать страннический свой путь.

## 41

Некоторое время спустя странник наш поступил на службу к некоему Иосту по прозвищу *Kwaebakker*, то есть «сердитый булочник» – такая у него была злющая рожа. *Kwaebakker* выдал ему на неделю три черствых хлебца, а для спанья отвел место на чердаке, где и лило и дуло на совесть.

В отместку за дурное обхождение Уленшпигель шутил с ним всевозможные шутки и, между прочим, сыграл такую... Кто задумал печь хлеб спозаранку, тот просеивает муку ночью. И вот однажды, лунной ночью, Уленшпигель попросил свечу, чтобы было виднее, но хозяин ему на это сказал:

– Просеивай там, где луна светит.

Уленшпигель стал послушно сыпать муку на землю – там, куда падал лунный свет.

Утром *Kwaebakker* пришел посмотреть работу Уленшпигеля и, увидев, что тот все еще просеивает, спросил:

– Ты зачем муку наземь сыплешь? Или она теперь нипочем?

– Я исполнил ваше приказание – просеивал муку там, где луна светит, – отвечал Уленшпигель.

– Осел ты этакий! – вскричал булочник. – Через сито надо было просеивать!

– Я думал, что луна – это новоизобретенное сито, – сказал Уленшпигель. – Впрочем, беда невелика, я сейчас соберу муку.

– Да ведь уж поздно месить тесто и печь хлеб, – возразил *Kwaebakker*.

– *Baes*<sup>68</sup>, у твоего соседа, у мельника, есть готовое тесто. Давай я сбегая? – предложил Уленшпигель.

– Иди на виселицу, – огрызнулся *Kwaebakker*, – может, там что-нибудь найдешь.

– Сейчас, *baes*, – молвил Уленшпигель.

С этими словами он побежал на Поле виселиц, нашел там высохшую руку преступника и принес ее *Kwaebakker*'у.

– Эта рука заколдованная, – объявил он, – кто ее с собой носит, тот для всех становится невидимкой. Хочешь спрятать свой дурной нрав?

– Я пожалуйюсь на тебя в общину, – сказал *Kwaebakker*, – там ты увидишь, что значит не слушаться хозяина.

Стоя вместе с Уленшпигелем перед бургомистром и собираясь развернуть бесконечный свиток злодеяний своего работника, *Kwaebakker* вдруг заметил, что тот изо всех сил пялит на него глаза. Это его так взбесило, что он прервал свою жалобу и крикнул:

– Что еще?

– Ты же сам сказал, что докажешь мою вину и я ее увижу, – отвечал Уленшпигель. – Вот я и хочу ее увидеть, потому и смотрю.

– Прочь с глаз моих! – взревел булочник.

– Будь я на твоих глазах, то, когда бы ты их зажмурил, я мог бы вылезти только через твои ноздри, – возразил Уленшпигель.

Бургомистр, видя, что оба порют чушь несусветную, не стал их слушать.

Уленшпигель и *Kwaebakker* вышли вместе. *Kwaebakker* замахнулся на него палкой, но Уленшпигель увернулся.

---

<sup>68</sup> Хозяин (флам.).

– *Baes*, – сказал он, – коль скоро ты замыслил побоями высеять из меня муку, то возьми себе отруби – свою злость, а мне отдай муку – мою веселость. – И, показав ему задний свой лик, прибавил: – А вот это устье печки – пеки на здоровье.

## 42

Уленшпигелю так надоело странствовать, что он с удовольствием заделался бы не вором с большой дороги, а вором большой дороги, да уж больно тяжелым была она вымощена булыжником.

Он пошел на авось в Ауденаарде, где стоял тогда гарнизон фламандских рейтаров, охранявший город от французских отрядов, которые, как саранча, опустошали край.

Фламандскими рейтарами командовал фрисландец Корнюин. Рейтары тоже рыскали по всей округе и грабили народ, а народ, как всегда, был между двух огней.

Рейтарам все шло на потребу: куры, цыплята, утки, голуби, телята, свиньи. Однажды, когда они возвращались с добычей, Корнюин и его лейтенанты обнаружили под деревом Уленшпигеля, спавшего и видевшего жаркое.

– Чем ты промышляешь? – осведомился Корнюин.

– Умираю с голоду, – отвечал Уленшпигель.

– Что ты умеешь делать?

– Паломничать за свои прегрешения, смотреть, как трудятся другие, плясать на канате, рисовать хорошенькие личики, вырезать черенки для ножей, тренькать на *rommelpot* и играть на трубе.

О трубе Уленшпигель так смело заговорил потому, что после смерти престарелого сторожа Ауденаардского замка должность эта все еще оставалась свободной.

– Быть тебе городским трубачом, – порешил Корнюин.

Уленшпигель пошел за ним и был помещен в самой высокой из городских башен, в клетушке, доступной всем ветрам, кроме полдника, который задевал ее одним крылом.

Уленшпигелю было велено трубить в трубу, чуть только он завидит неприятеля, но так как для этого голова должна быть ясная, а глаза постоянно открыты, Уленшпигеля держали впроголодь.

Военачальник и его рубаки жили в башне, и там у них шел непрерывный пир за счет окрестных деревень. Одних каплунов рейтары зарезали и сожрали невесть сколько, не найдя на них никакой другой вины, кроме той, что они были жирные. Об Уленшпигеле всегда забывали, и он, с тоской принюхиваясь к запаху кушаний, пробавлялся пустой похлебкой. Как-то раз налетели французы и увели много скота. Уленшпигель не трубил.

Корнюин поднялся к нему в каморку.

– Ты что же не трубил? – спросил он.

– У меня не хватило духу отблагодарить вас за харчи, – отвечал он.

На другой день военачальник задал самому себе и своим рубакам роскошный пир, а про Уленшпигеля опять позабыли. Как скоро они принялись уплетать, Уленшпигель затрубил в трубу.

Решив, что нагрянули французы, Корнюин и его рубаки побросали еду и вино и, вскочив на коней, поскакали за город, но обнаружили в поле только быка, лежавшего на солнце и пережевывавшего жвачку, и за неимением французов угнали его.

Тем временем Уленшпигель наелся, напился. Военачальник, вернувшись, застал такую картину: Уленшпигель, еле держась на ногах, стоял в дверях пиршественной залы и усмехался.

– Только изменник трубит тревогу, когда неприятеля нет, и не трубит, когда неприятель под носом, – сказал ему военачальник.

– Господин начальник, – возразил Уленшпигель, – там, наверху, меня так надувает ветром, что если б я вовремя не затрубил и не выпустил воздух, меня бы унесло, как все равно пузырь. Сделайте одолжение, вешайте меня – хотите сейчас, хотите как-нибудь другим разом, когда вам понадобится ослиная шкура для барабана.

Корнюин молча удалился.

Между тем до Ауденаарде дошла весть, что сюда направляется со своей доблестной свитой всемилостивейший император Карл. По сему обстоятельству старшины снабдили Уленшпигеля очками, дабы он мог издали разглядеть его святейшее величество. Уленшпигелю надлежало, как скоро он увидит, что император подходит к Луппегему, отстоявшему от Боргпорта на четверть мили, трижды протрубить в трубу.

Мера эта была принята для того, чтобы горожане успели зазвонить в колокол, приготовить фейерверк, поставить на огонь кушанья и открыть бочки с вином.

И вот однажды, в ясный полдень, когда ветер дул со стороны Брабанта, Уленшпигель увидел на Луппегемской дороге множество всадников с развевающимися султанами и играющих под ними коней. Иные всадники держали знамена. На голове у того, кто ехал впереди, как-то особенно гордо сидела парчовая шляпа с длинными перьями. На нем был шитый золотом наряд из коричневого бархата.

Уленшпигель, оседлав нос очками, разглядел, что это император Карл, по доброте своей не воспретивший жителям Ауденаарде угостить его лучшими винами и лучшими яствами.

Вся эта кавалькада двигалась шагом, дыша свежим воздухом, возбуждающим в людях аппетит, но Уленшпигель решил, что все они едят до отвала и когда-нибудь могут и попоستиться. Словом, он смотрел, как они приближаются, и не думал трубить.

Ехали они смеясь и болтая, а его святейшее величество мысленно заглядывал в свой желудок – осталось ли там место для обеда в Ауденаарде. Он был неприятно удивлен тем, что ни один колокол не возвещал о его прибытии.

Тем временем в город прибежал крестьянин и сказал, что он своими глазами видел отряд французов, который-де движется по направлению к городу, чтобы все здесь сожрать и все как есть разграбить.

Выслушав его, привратник тотчас же запер ворота и послал общинного рассыльного оповестить других привратников. А рейтары, ничего не подозревая, бражничали себе и бражничали.

Чем ближе подъезжал император, тем сильнее разбирала его злость, что колокола не звонят, пушки не палят, аркебузы не трещат. Как ни напрягал он слух, ничего, кроме боя башенных часов, бывших каждые полчаса, до него не доносилось. Убедившись, что ворота заперты, он изо всех сил забарабанил.

Свита, раздосадованная не менее самого императора, громко выражала свое возмущение. Привратник крикнул с вала, что если они не уймутся, то он польет сверху картечью, дабы охладить их боевой пыл. Его величество взбесился.

– Ах ты, слепая курица! – гаркнул он. – Ты что, не узнаешь своего императора?

– От курицы больше пользы, чем от иного павлина, – возразил привратник. – К тому же, господа французы – изрядные, знать, шутники: император-то Карл сейчас воюет в Италии – как же он может стоять у ворот Ауденаарде?

Тут Карл и его свита заорали во все горло:

– Если не откроешь, мы тебя изжарим на копье! А перед этим ты проглотишь свои ключи.

На шум прибежал из артиллерийского склада старый служивый и, выглянув из-за стены, сказал:

– Ты ошибся, привратник, – это наш император. Я его сразу узнал, хоть и постарел он с тех пор, как увез отсюда в Лаленский замок Марию ван дер Хейнст.<sup>69</sup>

Привратник от страха лишился чувств; служивый взял у него ключи и побежал отворять ворота.

Император спросил, почему его так долго заставили ждать. Солдат объяснил, тогда император приказал ему опять запереть ворота и вызвать рейтаров Корнюина, а рейтарам велел идти вперед, дудеть в дудки и бить в барабаны.

Вслед за тем, сперва робко, потом все громче, зазвонили колокола. Только после этого его величество с подобающим его особе шумом и громом вступил на Большой рынок. Бургомистры и старшины находились в это время в зале заседаний. Старшина Ян Гигелер выбежал на шум. Обрато он прибежал с криком:

– *Keyser Karel is alhier!* (Император Карл здесь!)

Устрашенные этой вестью, бургомистры, старшины и советники в полном составе вышли из ратуши, дабы приветствовать императора, меж тем как слуги носились по всему городу и передавали их распоряжение готовить потешные огни, жарить птицу и открывать бочки.

Мужчины, женщины, дети бегали взад и вперед.

– *Keyser Karel is op 't Groot marckt!* (Император Карл на Большом рынке!) – кричали они.

Там уже собралась огромная толпа.

Император, не помня себя от ярости, спросил обоих бургомистров, не заслуживают ли они виселицы за такое невнимание к своему государю.

Бургомистры ответили, что заслуживают, но что еще больше заслуживает ее городской трубач Уленшпигель, так как, едва до них дошел слух об ожидающемся прибытии его величества, они поместили трубача в башне, дали ему прекрасные очки и строго-настрого приказали трижды протрубить, как скоро он завидит вдали императора и его свиту. Но трубач ослушался.

Император, нимало не смягчившись, велел привести Уленшпигеля.

– Почему ты, хотя тебе дали такие хорошие очки, не трубил при моем приближении? – спросил он его.

Говоря это, император прикрыл глаза ладонью от солнца – он смотрел на Уленшпигеля сквозь пальцы.

Уленшпигель тоже прикрыл глаза ладонью и сказал, что как скоро он увидел, что его величество смотрит сквозь пальцы, то сей же час снял очки.

Император ему объявил, что его повесят, привратник одобрил этот приговор, а бургомистры онемели от ужаса.

Послали за палачом и его подручными. Те принесли с собой лестницу и новую веревку, схватили Уленшпигеля за шиворот, и тот, шепча молитвы, спокойно прошел мимо сотни корнюинских рейтаров.

Те над ним издевались. А народ, шедший за ним, говорил:

– За такой пустяк осудить на смерть бедного юношу – это бесчеловечно.

Тут было много вооруженных ткачей, и они говорили:

– Мы не дадим вешать Уленшпигеля. Это против законов Ауденаарде.

Между тем Уленшпигеля привели на Поле виселиц, заставили подняться на лестницу, и палач накинул ему на шею петлю. Ткачи сгрудились у самой виселицы. Профос, верхом на коне, упер коню в бок судейский жезл, которым он должен был по приказу императора подать знак к приведению приговора в исполнение.

Весь народ повторял:

---

<sup>69</sup> ...с тех пор, как увез отсюда... Марию ван дер Хейнст. – В 1521 г. во время войны с Францией в Ауденаарде была ставка Карла V. Здесь молодой император прельстился девушкой из соседней деревни. От нее у Карла родилась дочь Маргарита (будущая наместница Нидерландов, 1559–1567).



– Помилуйте, помилуйте Уленшпигеля!

Уленшпигель, стоя на лестнице, крикнул:

– Сжальтесь, всемилостивейший император!

Император поднял руку и сказал:

– Если этот мерзавец попросит меня о чем-нибудь таком, чего я не могу исполнить, я его помилую.

– Проси, Уленшпигель! – вскричал народ.

Женщины плакали и говорили между собой:

– Ни о чем таком он, бедняжка, попросить не может – император всемогущ.

Но вся толпа, как один человек, кричала:

– Проси, Уленшпигель!

– Ваше святейшее величество, – начал Уленшпигель, – я не прошу ни денег, ни поместий, не прошу даже о помиловании, – я прошу вас только об одном, за какую мою просьбу вы уж не бичуйте и не колесуйте меня – ведь я и так скоро отойду к праотцам.

– Обещаю, – сказал император.

– Ваше величество! – продолжал Уленшпигель. – Прежде чем меня повесят, подойдите, пожалуйста, ко мне и поцелуйте меня в те уста, которыми я не говорю по-фламандски.

Император и весь народ расхохотались.

– Эту просьбу я не могу исполнить, – сказал император, – значит, тебя, Уленшпигель, не будут вешать.

Но бургомистров и старшин он присудил целых полгода носить на затылке очки, ибо, рассудил он, если ауденаардцы не умеют смотреть передом, пусть по крайней мере смотрят задом.

Так до сих пор эти очки и красуются по императорскому указу в гербе города Ауденаарде.

А Уленшпигель с мешочком серебра, которое ему собрали женщины, незаметно скрылся.

## 43

В Льеже, в рыбном ряду, Уленшпигель обратил внимание на толстого юнца, державшего под мышкой плетушку с битой птицей, а другую плетушку наполнявшего треской, форелью, угрями и щуками.

Уленшпигель узнал Ламме Гудзака.

– Что ты здесь делаешь, Ламме? – спросил он.

– Ты же знаешь, как нас, фламандцев, радушно принимают в приветливом Льеже, – отвечал Ламме. – Я здесь обретаюсь ради предмета моей любви. А ты?

– Я ищу, где бы заработать на кусок хлеба, – отвечал Уленшпигель.

– Черствая пища, – заметил Ламме. – Лучше бы ты спустил в брюхо четки из ортоланов с дроздом вместо «Верую».

– Ты богат? – спросил Уленшпигель.

На это Ламме Гудзак ему сказал:

– Я потерял отца, мать и младшую сестру, которая так меня колотила. В наследство мне досталось все их имущество. Опекает же меня одноглазая служанка, великая мастерица по части стряпни.

– Понести тебе рыбу и птицу? – спросил Уленшпигель.

– Понеси, – сказал Ламме.

И они зашагали по рынку.

– А ведь ты дурак, – неожиданно изрек Ламме. – Знаешь почему?

– Нет, не знаю, – отвечал Уленшпигель.

– Ты носишь рыбу и птицу не в желудке, а в руках.

– Твоя правда, Ламме, – согласился Уленшпигель, – но с тех пор, как я сижу без хлеба, ортоланы и глядеть на меня не хотят.

– Ты их досыта наешься, Уленшпигель, – сказал Ламме. – Ты будешь мне прислуживать, если согласится моя стряпуха.

Дорогой Ламме показал Уленшпигелю славную, милую, прелестную девушку в шелковом платье – она семенила по рынку и, увидев Ламме, бросила на него нежный взгляд.

Позади нее шел ее старый отец и нес две плетушки – одну с рыбой, другую с дичью.

– Вот на ком я женюсь, – сказал Ламме.

– Я ее знаю, – сказал Уленшпигель, – она – фламандка, родом из Зоттегема, живет на улице Винав д'Иль. Соседи уверяют, будто мать подметает за нее улицу перед домом, а отец гладит ее сорочки.

Но Ламме, пропустив его слова мимо ушей, с сияющим видом сказал:

– Она на меня посмотрела!

Они подошли к дому Ламме, у Пон-дез-Арш, и постучались. Им отворила кривая служанка. Это была старая ведьма, длинная и худая.

– Ла Санжин, – обратился к ней Ламме, – возьмешь этого молодца в помощники?

– Возьму на пробу, – отвечала та.

– Возьми, – сказал Ламме, – пусть он изведает всю прелесть твоей кухни.

Ла Санжин подала на стол три кровяных колбаски, кружку пива и краюху хлеба.

Уленшпигель ел за обе щеки, Ламме тоже угрызал колбаску.

– Ты знаешь, где у нас душа? – спросил он.

– Не знаю, Ламме, – отвечал Уленшпигель.

– В желудке, – молвил Ламме. – Она постоянно опустошает его и обновляет в нашем теле жизненную силу. А кто самые верные наши спутники? Вкусные изысканные блюда и маасское вино.

– Да, – сказал Уленшпигель, – колбаски – приятное общество для одинокой души.

– Он еще хочет, – сказал Ламме. – Дай ему, Ла Санжин.

На сей раз Ла Санжин подала Уленшпигелю ливерной колбасы.

Пока Уленшпигель лопал ливерную колбасу, Ламме с глубокомысленным видом рассуждал:

– Когда я умру, мой желудок тоже умрет, а в чистилище меня заставят поститься, и буду я таскать с собой отвисшее пустое брюхо.

– Кровяная мне больше понравилась, – заметил Уленшпигель.

– Ты уже шесть таких колбасок съел, хватит с тебя, – отрезала Ла Санжин.

– Ты у нас поживешь в свое удовольствие, – сказал Ламме, – есть будешь то же, что и я.

– Ловлю тебя на слове, – молвил Уленшпигель.

Видя, что он и впрямь питается не хуже хозяина, Уленшпигель был на верху блаженства. Уничтоженная им колбаса так его вдохновила, что в этот день он отчистил до зеркального блеска все котлы, сковороды и горшки.

Зажил он в этом доме как в раю, часто навещался в погреб и в кухню, а чердак предоставил кошкам. Однажды Ла Санжин велела ему приглядеть за вертелом, на котором жарились два цыпленка, а сама пошла на рынок купить зелени.

Когда цыплята изжарились, Уленшпигель одного съел.

Ла Санжин, вернувшись, сказала:

– Тут было два цыпленка, а сейчас я вижу одного.

– Открой другой глаз – увидишь двух, – посоветовал Уленшпигель.

Кухарка в ярости пошла жаловаться Ламме Гудзаку – тот явился на кухню и сказал Уленшпигелю:

– Что ж ты издеваешься над моей служанкой? Ведь было же два цыпленка.

– Так-то оно так, Ламме, – заметил Уленшпигель, – но когда я к тебе поступал, ты мне сказал, что я буду есть и пить то же, что и ты. Тут было два цыпленка – одного съел я, другого съешь ты, я уже получил удовольствие, а тебе оно еще предстоит. Кто же из нас счастливей – не ты ли?

– Выходит, что так, – молвил Ламме, – но все-таки ты беспрекословно слушайся Ла Санжин, и тогда тебе придется делать только половину работы.

– Постараюсь, Ламме, – сказал Уленшпигель.

На этом основании Уленшпигель, что бы Ла Санжин ему ни поручала, делал теперь только половину дела. Так, например, если она говорила ему, чтобы он принес два ведра воды, он притаскивал одно. Если она говорила ему, чтобы он слезил в погреб и нацедил из бочки кружку пива, по дороге он выливал полкружки себе в глотку, и все в таком роде.

В конце концов эти проделки надоели Ла Санжин, и она сказала Ламме напрямик: или, мол, этот мошенник, или она.

Ламме пошел к Уленшпигелю и сказал:

– Придется тебе уйти, сын мой, хоть ты у нас и отрастил ряшку. Слышишь? Петух поет. А сейчас два часа дня – это к дождю. Мне жаль выгонять тебя на дождь, но подумай, сын мой: Ла Санжин благодаря своему поваренному искусству является стражем моего бытия. Расстаться с ней я могу только с риском для жизни. Иди с Богом, мой мальчик, возьми себе на дорогу три флорина и снизку колбасок.

И Уленшпигель со стыдом удалился, тоскуя о Ламме и об его кухне.

## 44

В Дамме, как и повсюду, стоял ноябрь, но зима запаздывала.

Ни снега, ни дождя, ни холода. Солнце не по-осеннему ярко светило с утра до вечера. Дети копошились в уличной и дорожной пыли. После ужина купцы, приказчики, золотых дел мастера, тележники и другие ремесленники выходили из своих домов поглядеть на все еще голубое небо, на деревья, с которых еще не падали листья, на аистов, облюбовавших конек крыши, на неотлетевших ласточек. Розы цвели уже трижды и опять были все в бутонах. Ночи были теплые, соловьи заливались.

Жители Дамме говорили:

– Зима умерла – сожжем зиму!

Они смастерили громадное чучело с медвежьей мордой, длинной бородой из стружек и косматой гривой из льна, надели на него белое платье, а потом торжественно сожгли.

Клаас закручинился. Его не радовало безоблачное небо, не радовали ласточки, не желавшие улетать. В Дамме никому не нужен был уголь – разве для кухни, а для кухни все им запаслись, и у Клааса, истратившего на закупку угля все свои сбережения, не оказалось покупателей.

Вот почему, когда, стоя на пороге своего дома, угольщик чувствовал, что свежий ветерок холодит ему кончик носа, он говорил:

– Эге! Ко мне идет мой заработок.

Но свежий ветерок стихал, небо по-прежнему было голубое, листья не желали падать. Клаас не уступил за полцены свой зимний запас угля выжиге Грейпстюверу, старшине рыборотковцев. И скоро Клаасу не на что стало купить хлеба.

## 45

А король Филипп не голодал – он объедался пирожными в обществе своей супруги Марии Уродливой из королевского дома Тюдоров<sup>70</sup>. Любить он ее не любил, но его занимала мысль, что, оплодотворив эту чахлую женщину, он подарит английскому народу монарха-испанца.

Брачный союз с Марией являлся для него сущим наказанием – это было все равно что сочетать булыжник с горящей головней. В одном лишь они выказывали трогательное единодушие – несчастных реформатов они жгли и топили сотнями.

Когда Филипп не уезжал из Лондона, когда он, переодетый, не отправлялся развлекаться в какой-нибудь притон, час отхода ко сну соединял супругов.

Королева Мария в отделанной ирландскими кружевами сорочке из фламандского полотна стояла возле брачного ложа, а король Филипп, длинный как жердь, оглядывал ее – нет ли каких-либо признаков беременности. Ничего не обнаружив, он свирепел и молча принимался рассматривать свои ногти.

Бесплодная сластолюбка говорила ему нежные слова и бросала на него нежные взгляды – она молила бесчувственного Филиппа о любви. Всеми доступными ей средствами – слезами, воплями, просьбами – добивалась она ласки от человека, который ее не любил.

Напрасно, ломая руки, падала она к его ногам. Напрасно, чтобы разжалобить его, хохотала и плакала, как безумная, но ни смех, ни слезы не смягчали это твердокаменное сердце.

Напрасно в порыве страсти она, как змея, обвивала его костлявыми руками и прижимала к плоской груди узкую клетку, где жила низкая душонка этого земного владыки, – он по-прежнему стоял столбом.

Злосчастная дурнушка старалась обаять его. Она называла его всеми ласковыми именами, какие дают избранникам своего сердца обезумевшие от страсти женщины, – Филипп рассматривал свои ногти.

Иногда он обращался к ней с вопросом:

– У тебя так и не будет детей?

Голова ее падала на грудь.

– Разве я виновата, что я бесплодна? – говорила она. – Пожалей меня – я живу как вдова.

– Почему у тебя нет детей? – твердил Филипп.

Королева как подкошенная падала на ковер. Из глаз ее катились слезы, но если б эта злосчастная сластолюбка могла, она плакала бы кровью.

Так Господь мстил палачам за то, что они устлали своими жертвами землю Английскую.

## 46

Народ поговаривал, что император Карл намерен лишить монахов права наследовать имущество лиц, умерших в монастырях, и что папа этим крайне недоволен.

Уленшпигель в это время бродил по берегам Мааса и думал о том, что император из всего умеет извлекать пользу: он наследует и выморочное имущество. В сих мыслях Уленшпигель сел на берегу и закинул старательно наживленную удочку. Жуя черствый кусок черного хлеба,

---

<sup>70</sup> Мария Тюдор – королева Англии (1516–1558). Вышла замуж за Филиппа II, который прожил в Англии некоторое время. Она отменила реформационные мероприятия своих предшественников, провозгласила восстановление католицизма и обратилась к папе с просьбой «о прощении согрешивших и об обратном их присоединении к римской церкви», но не решилась отнять у новых владельцев бывшие церковные земли и вернуть их монастырям. Свирепые преследования еретиков снискали ей у английских историков прозвище Кровавой (а не Уродливой), хоть и ее протестантские предшественники и преемники отнюдь не отличались веротерпимостью и мягкостью.

он затосковал по бургонскому, но тут же подумал, что далеко не каждый человек наслаждается всеми благами жизни.

Рассуждая таким образом, Уленшпигель бросал в воду кусочки хлеба – он придерживался того мнения, что человек, который не делится пищей со своим ближним, сам недостоин ее.

Внезапно появился пескарь: обнюхал хлебный мякиш, дотронулся до него ртом, а затем разинул свою невинную пасть – видимо, он был уверен, что хлеб сам туда прыгнет. Но пока он пучил глаза, в воздухе стрельнула коварная щука и в одну секунду проглотила его.

Так же точно обошлась она с карпом, который, не чуя опасности, ловил на лету мошек. Наевшись досыта, щука, не обращая внимания на мелкую рыбешку, удиравшую от нее на всех плавниках, легла отдохнуть. Она все еще не изменила своей небрежной позы, когда на нее с разинутой пастью накинута другая щука, прожорливая и голодная. Между ними вспыхнул ожесточенный бой. Один сокрушительный удар следовал за другим. Вода покраснела от крови. Пообедавшая щука оказывала слабое сопротивление голодной. Наконец голодная отплыла подальше и с разгону налетела на свою противницу, а та, ожидавшая ее с разинутой пастью, нечаянно заглотала половину ее головы, тут же постаралась освободиться от нее, но не смогла – по причине изогнутости своих зубов. Обе барахтались, являя собою прежалкое зрелище.

Сцепившись, они не заметили привязанного к шелковой лесе основательного крючка, а между тем леса натянулась, и крючок, впившись в плавник щуки пообедавшей, вытащил ее вместе с противницей и без всяких церемоний выбросил на траву.

Вонзая в них нож, Уленшпигель сказал:

– Милые вы мои щучки! Вы как все равно император и папа: друг дружку едите. А я – народ: пока вы деретесь, я, Господи, благослови, раз, раз – и обеих на крючок!

## 47

Катлина по-прежнему жила в Боргерхауте, бродила по окрестностям и все говорила, говорила:

– Ганс, муж мой, они зажгли огонь на моей голове. Прodelай в ней дыру, чтобы душа моя вырвалась оттуда! Ой, как она стучится! От каждого удара сердце заходится.

А Неле ухаживала за своей безумной матерью и думала грустную думу о своем друге Уленшпигеле.

А Клаас в Дамме вязал хворост, торговал углем и тужил при мысли о том, что изгнанный Уленшпигель долго еще не вернется в родную лачугу.

Сооткин целыми днями сидела у окна и смотрела, не видать ли ее сына Уленшпигеля.

А Уленшпигель, достигнув окрестностей Кельна, вообразил, что у него есть склонность к садоводству.

Он пошел в работники к Яну де Цуурсмунду, бывшему начальнику ландскнехтов, который некогда откупился от виселицы и с тех пор безумно боялся конопли, а конопля называлась тогда по-фламандски *kennip*.

Как-то раз Ян де Цуурсмунд, намереваясь задать Уленшпигелю очередной урок, привел его на свое поле, и тут они оба увидели, что один край участка сплошь зарос зеленым *kennip*-ом.

Ян де Цуурсмунд сказал Уленшпигелю:

– Где бы ты ни увидел вон ту мерзость, предавай ее позорному осквернению, сие есть орудие колесования и повешения.

– Предам, – обещал Уленшпигель.

Однажды, когда Ян де Цуурсмунд и его собутыльники сидели за столом, повар приказал Уленшпигелю:

– Сбегай в погреб и принеси *zennip* (то есть горчицу).

Уленшпигель, якобы нечаянно спутав *zennip* с *kennip*’ом, предал в погребе горшок с горчицей позорному осквернению и с усмешечкой подал его на стол.

– Ты чего смеешься? – спросил Ян де Цуурсмуй. – Ты думаешь, у нас носы бронзовые? Ты приготовил этот *zennip* – сам его и жри.

– Я предпочитаю жареное мясо с корицей, – возразил Уленшпигель.

Ян де Цуурсмуй вскочил и замахнулся на него.

– В горшке с горчицей – скверность! – крикнул он.

– *Baes*, – обратился к нему Уленшпигель, – а вы не помните, как вы меня привели на свой участок? Вы показали на *zennip* и сказали: «Как увидишь эту мерзость, предавай ее позорному осквернению: сие есть орудие колесования и повешения». Я его и осквернил, *baes*, осквернил самым оскорбительным для него образом. Я исполнил ваше приказание – за что же вы собираетесь меня колотить?

– Я сказал *kennip*, а не *zennip*! – в бешенстве крикнул Ян де Цуурсмуй.

– Нет, *baes*, вы сказали *zennip*, а не *kennip*, – упорствовал Уленшпигель.

Долго еще они пререкались: Уленшпигель возражал мягко, зато Ян де Цуурсмуй визжал, как будто его резали; он увяз, как муха в меду, во всех этих *zennip*, *kennip*, *kemp*, *zemp*, *kemp* и никак не мог из них выпутаться.

А гости хохотали, как черти, когда они едят котлеты из доминиканцев<sup>71</sup> и почки инквизиторов.

Со всем тем Уленшпигелю пришлось уйти от Яна де Цуурсмуля.

## 48

Неле по-прежнему страдала и за себя, и за свою безумную мать.

А Уленшпигель поступил к портному, и тот ему сказал:

– Когда ты шьешь, шей плотнее, чтобы не просвечивало.

Уленшпигель залез в бочку и принялся шить.

– Да разве я тебе про то говорил? – вскричал портной.

– Я уплотнился в бочке. Тут нигде не просвечивает, – возразил Уленшпигель.

– Иди сюда, – сказал портной, – садись за стол и делай стежки как можно чаще – сошьешь мне волка.

«Волком» в тех краях называют деревенское полукафтанье.

Уленшпигель разрезал материю на куски и сшил нечто похожее на волка.

Портной заорал на него:

– Что ты сделал, черт бы тебя драл?

– Волка, – отвечал Уленшпигель.

– Пакостник ты этакий! – вопил портной. – Я тебе правда велел сшить волка, но ты же прекрасно знаешь, что волком у нас называется деревенское полукафтанье...

Некоторое время спустя он сказал Уленшпигелю:

– Пока ты еще не лег, малый, подкинь-ка рукава вон к той куртке.

«Подкинуть» на портновском языке означает приметать.

Уленшпигель повесил куртку на гвоздь и всю ночь бросал в нее рукавами.

На шум явился портной.

– Ты опять безобразничаешь, негодник? – спросил он.

– Какое же безобразие? – возразил Уленшпигель. – Я всю ночь подкидывал рукава к куртке, а они не держатся.

---

<sup>71</sup> *Доминиканцы* – один из «нищенствующих» монашеских орденов католической церкви. Основан в начале XIII в. В течение долгого времени в руках доминиканцев находилась инквизиция. Свое латинское название «*Dominicanos*» (от имени основателя ордена Св. Доминика) они предпочитали читать как «*Domini canes*» – «псы Господни».

– Само собой разумеется, – сказал портной. – Вот я тебя сейчас на улицу выкину – посмотрим, долго ли ты там продержишься.

## 49

Когда кто-нибудь из добрых соседей соглашался приглядеть за Катлиной, Неле отправлялась гулять одна и шла далеко-далеко, до самого Антверпена, бродила по берегам Шельды<sup>72</sup> и в других местах и всюду искала – на речных судах и на пыльных дорогах, – нет ли где ее друга Уленшпигеля.

А Уленшпигель добрался до Гамбурга, и там, среди скопища купцов, его внимание привлекли старые евреи – ростовщики и старьевщики.

Уленшпигель решил тоже заделаться торговцем; того ради он подобрал с земли немного лошадиного навозу и отнес к себе, а приютом ему служил тогда редан крепостной стены. Там он высушил навоз. Потом купил алого и зеленого шелку, наделал из него мешочков, положил туда лошадиного навозу и перевязал ленточкой – будто бы они с мускусом.

Затем он сколотил из дощечек лоток, повесил его на старой бечевке себе на шею и, разложив на нем мешочки, вышел на рынок. По вечерам он зажигал прикрепленную посреди лотка свечечку.

Когда его спрашивали, чем он торгует, он с таинственным видом отвечал:

– Я могу вам на это ответить, но только не во всеуслышание.

– Ну? – допытывались покупатели.

– Это пророческие зерна, – отвечал Уленшпигель, – завезены они во Фландрию прямо из Аравии, а изготовлены изрядным искусником Абдул-Медилом, потомком великого Магомета.

Иные покупатели говорили между собой:

– Это турок.

А другие возражали:

– Нет, это фламандский богомолец – разве не слышите по выговору?

Оборванцы, голодранцы, горемыки подходили к Уленшпигелю и просили:

– Дай-ка нам этих пророческих зерен!

– Дам, когда у вас будет чем платить, – отвечал Уленшпигель.

Бедные оборванцы, голодранцы и горемыки в смущении отходили.

– На свете одним богачам раздолье, – говорили они.

Слух о пророческих зернах скоро облетел весь рынок. Обыватели говорили между собой:

– Тут у какого-то фламандца есть пророческие зерна, освященные в Иерусалиме на гробе Господнем, но говорят, будто он их не продает.

И все обыватели шли к Уленшпигелю и просили продать им зерен.

Но Уленшпигель в чаянии крупных барышей отвечал, что они еще не созрели, а сам не спускал глаз с двух богатых евреев, расхаживавших по рынку.

– Я хочу знать, что с моим кораблем, который сейчас в море, – спросил один обыватель.

– Если волны будут высокие, то корабль дойдет до самого неба, – отвечал Уленшпигель.

Другой, показывая на свою хорошенькую дочку, которая при его словах вся вспыхнула, спросил:

– Должно полагать, она своего счастья не упустит?

– Никто не упускает того, что требует его природа, – отвечал Уленшпигель, ибо он видел, как девчонка передавала ключ какому-то парню, а парень, видимо заранее предвкушая удовольствие, сказал Уленшпигелю:

---

<sup>72</sup> Шельда – большая судоходная река, на которой стоит Антверпен.

– Ваше степенство, продайте мне один из ваших пророческих мешочков – я хочу знать, один или не один я буду спать эту ночь.

– В Писании сказано: кто сеет рожь соблазна, тот пожнет спорынью рогагоношения, – отвечал Уленшпигель.

Парень обозлился.

– Ты на кого это намекаешь? – спросил он.

– Зерна желают, чтобы ты был счастлив в семейной жизни и чтобы жена не подарила тебе Вулканова шлема<sup>73</sup>. Тебе известно, что это за убор? – обратился к парню, спросил Уленшпигель и наставительным тоном продолжал: – Та, что дает жениху задаток еще до брака, даром раздает потом другим весь свой товар.

Тут девчонка, прикидывавшаяся непонимающей, задала Уленшпигелю вопрос:

– И все это видно в пророческих мешочках?

– Там виден еще и ключ, – шепнул ей на ушко Уленшпигель.

Но парень уже исчез вместе с ключом.

Тут Уленшпигель заметил, что какой-то воришка стащил у колбасника с полки колбасу в локоть длиной и сунул ее себе за пазуху. Продавец этого не видел. Воришка, весьма таковым обстоятельством довольный, подошел к Уленшпигелю и спросил:

– Чем торгуешь, предсказатель несчастий?

– Мешочками, в которых ты увидишь, что тебя повесят за пристрастие к колбасе, – отвечал Уленшпигель.

При этих словах воришка бросился наутек. Обворованный колбасник крикнул:

– Вор! Держите вора!

Но было уже поздно.

Все это время два богатых еврея с великим вниманием слушали, что говорит Уленшпигель, и наконец приблизились к нему.

– Чем торгуешь, фламандец? – спросили они.

– Мешочками, – отвечал Уленшпигель.

– Что можно узнать при помощи твоих пророческих зерен? – спросили они.

– Будущее, ежели их пососать, – отвечал Уленшпигель.

Евреи посовещались между собой, а затем старший сказал младшему:

– Давай погадаем, когда придет Мессия, – это будет великое для нас утешение. Купим один мешочек. Почему они у тебя?

– По полсотне флоринов за штуку, – отвечал Уленшпигель. – А коли вам это дорого, так убирайтесь откуда пришли. Кто не купил поля, тому и навоз не нужен.

Убедившись, что Уленшпигель цены не сбавит, они отсчитали Уленшпигелю пятьдесят флоринов и, взяв мешочек, припустились туда, где у них обыкновенно происходили сборища и куда вскорости, прослышав, что старый еврей приобрел таинственную вещицу, с помощью коей можно узнать и возвестить приход мессии, набегали все иудеи.

Каждому из них захотелось бесплатно пососать мешочек, но старик по имени Иегу, – тот самый, который его приобрел, – заявил на него свои права.

– Сыны Израиля! – держа в руке мешочек, возгремел он. – Христиане издеваются над нами, гонят нас, мы для них хуже воров. Эти сущие филистимляне втаптывают нас в грязь, плюют на нас, ибо Господь ослабил тетиву наших луков и натянул удила наших коней. Доколе, Господи, Бог Авраама, Исаака и Иакова, доколе страдать нам? Когда же мы наконец возрадуемся? Доколе быть мраку? Когда же мы узрим свет? Скоро ли сойдешь ты на землю, божествен-

---

<sup>73</sup> ...жена не подарила тебе Вулканова шлема. – Вулкан – у древних римлян – бог огня; он отождествлялся с древнегреческим богом – кузнецом Гефестом, мужем Афродиты (Венеры), богини любви, изменявшей ему с богом войны Аресом (Марсом).



ный Мессия? Скоро ли христиане, убоявшись тебя, являющегося во всей своей дивной славе, дабы покарать их, попрчутся в пещерах и ямах?

Тут все евреи закричали:

– Гряди, Мессия! Соси, Иегу!

Иегу начал было сосать, но его сейчас же вырвало, и он жалобно молвил:

– Истинно говорю вам: это навоз, а фламандский богомолец – жулик.

При этих словах евреи кинулись к мешочку, развязали его и, определив, что собой представляет его содержимое, в порыве ярости устремились на рынок ловить Уленшпигеля, но его и след простыл.

## 50

Одному из жителей Дамме нечем было расплатиться с Клаасом за уголь, и он отдал ему лучшую свою вещь – арбалет с дюжиной отлично заостренных стрел.

В свободное время Клаас из этого арбалета постреливал. Изрядное количество зайцев было им истреблено за пристрастие к капусте и потом превращено в жаркое.

В такие дни Клаас наедался досыта, а Сооткин все поглядывала на пустынную дорогу.

– Тиль, сыночек, чувствуешь запах подливки?.. Голодает небось... – задумчиво добавляла она, испытывая неодолимое желание оставить сыну лакомый кусочек.

– Голодает – сам виноват, – возражал Клаас. – Вернется домой – будет есть то же, что и мы.

У Клааса были голуби. Кроме того, он любил слушать пение малиновок и щеглов, чирикание воробышков и прочих певунов и щебетунов. Вот отчего ему доставляло удовольствие стрелять сарычей и ястребов – пожирателей птичьей мелкоты. И вот однажды, когда он во дворе отмеривал уголь, Сооткин обратила его внимание на большую птицу, ширявшую над голубятней.

Клаас схватил арбалет.

– Ну теперь, ваше ястребительство, сам дьявол вас не спасет! – крикнул он.

Вложив стрелу, он, чтобы не промахнуться, стал внимательно следить за всеми движениями птицы. Быстро спускались сумерки. Клаас уже ничего не различал, кроме черной точки. Он пустил стрелу, и вслед за тем во двор упал аист.

Клаас был очень огорчен. Еще больше была огорчена Сооткин.

– Ты убил Божью птицу, злодей! – крикнула она.

Подняв аиста и убедившись, что он только ранен в крыло, Сооткин смазала и перевязала ему рану.

– Аист, дружок, – приговаривала она, – ты же наш любимец, – ну чего ты кружишь, ровно ястреб, которого все ненавидят? Этак народные стрелы будут попадать не в того, в кого нужно. Что, болит твое бедное крылышко, аист? А уж терпеливый ты: видно, чувствуешь, что наши руки – это руки друзей.

Когда аист выздоровел, он ел все, что хотел. Особенно он любил рыбу, которую Клаас ловил для него в канале. Завидев возвращавшегося домой хозяина, Божья птица всякий раз широко разевала клюв.

Аист бегал за Клаасом как собачонка, но больше всего ему нравилось греться на кухне и бить Сооткин клювом по животу, как бы спрашивая: «Мне ничего не перепадет?»

Сердце радовалось, глядя, как по всему дому расхаживала на своих длинных ногах эта важная птица, приносящая счастье.

## 51

Между тем вновь настали тяжелые дни: Клаас уныло трудился в поле один – двоим там делать было нечего. Сооткин сидела дома одна-одинешенька и, боясь, что бобы в конце концов надоедят мужу, для разнообразия придумывала из них всевозможные кушанья. Не желая нагонять на Клааса тоску, она смеялась при нем и напевала. Спрятав свой клюв в перья, около нее стоял на одной ноге аист.

Как-то раз перед их домом остановился всадник, мрачный, худой и весь в черном.

– Есть кто дома? – спросил он.

– Да Господь с вами, ваше прискорбие! – отозвалась Сооткин. – Чего вы спрашиваете, есть ли кто дома? А я-то что же, по-вашему, дух бесплотный?

– Где твой отец? – спросил верхоконный.

– Если вы имеете в виду Клааса, то он вон он, сеет в поле, – отвечала Сооткин.

Всадник уехал, а Сооткин, которую угнетала мысль, что ей в шестой раз приходится просить в долг, отправилась в булочную. Вернувшись с пустыми руками, она, к изумлению своему, увидела, что Клаас со славой и победой едет домой на коне черного человека, а тот идет пешком, ведя коня под уздцы. Клаас гордо прижимал к животу кошель, по-видимому, набитый доверху.

Соскочив с коня, Клаас обнял гостя, весело похлопал его по плечу и, тряхнув кошель, воскликнул:

– Да здравствует мой брат Иост, добрый отшельник! Дай Бог ему здоровья, счастья, миру и жиру! Радуйся, Иост благословенный, радуйся, Иост преизобильный, радуйся, Иост жирно-супный! Не обманул, стало быть, аист!

С этими словами он положил кошель на стол.

Тут Сооткин со слезами в голосе ему объявила:

– Нам нынче есть нечего, муж, – булочник не дал мне в долг хлеба.

– Не дал хлеба? – переспросил Клаас, раскрывая кошель, из которого тотчас хлынул поток золота. – Хлеба? Вот тебе хлеб, масло, мясо, вино, пиво! Вот тебе ветчина, мозговые кости, паштеты из цапли, ортоланы, пулярки, каплуны, как все равно у важных господ! Вот тебе бочки пива и бочонки вина! Дурак булочник, что отказал нам в хлебе, – больше мы ничего не будем у него покупать.

– Но, муженек... – начала озадаченная Сооткин.

– Не тоскуй, а ликуй, – молвил Клаас. – Катлина не захотела весь срок своего изгнания проводить в Антверпенском маркизате, и Неле отвела ее в Мейборг. Там она увидела брата моего Иоста и сказала, что мы бьемся, бьемся, а из нужды никак не выбьемся. Славный гонец мне сейчас сообщил, – Клаас показал на черного всадника, – что Иост вышел из лона святой римской церкви и впал в Лютерову ересь.

На это ему человек в черном возразил:

– Еретики – те, что почитают великую блудницу<sup>74</sup>. Папа – предатель, он торгует святыней.<sup>75</sup>

– Ах, сударь, говорите тише! – вмешалась Сооткин. – А то мы из-за вас на костер попадем.

---

<sup>74</sup> *Еретики – те, что почитают великую блудницу.* – Под «великой блудницей», которая должна погибнуть от Божьего гнева, в 17-й главе Апокалипсиса (одна из книг Нового Завета, написанная в I в. н. э. при римском императоре Нероне, когда христианство преследовалось государством) подразумевается императорский Рим. Во времена реформации протестанты, указывая на чудовищную развращенность нравов папского двора, относили пророчество Апокалипсиса к папскому Риму и использовали библейский образ в борьбе против католицизма.

<sup>75</sup> *Папа – предатель, он торгует святыней.* – Торговля святыней, или «симония» (от имени Симона-волхва, новозаветного персонажа, просившего апостолов продать ему за деньги дар творить чудеса), – одно из основных обвинений, предъявлявшихся римской курии протестантами. Симонией они считали продажу церковных должностей и торговлю индульгенциями.

– Одним словом, – снова заговорил Клаас, – Иост просил славного этого гонца передать нам, что он набрал и вооружил полсотни ратников и вступает с ними в ряды войск Фридриха Саксонского<sup>76</sup>, а раз он идет на войну, значит, ему денег много не нужно; не ровен час, достанутся, мол, еще какому-нибудь подлецу-ландскнехту. Вот он и сказал гонцу: «Передай брату моему Клаасу вместе с моим благословением семьсот золотых флоринов: пусть живет – не тужит, да о душе думает».

– Да, – молвил всадник, – теперь как раз время о душе думать – Господь грядет судить живых и мертвых и каждому воздаст по делам его.

– Однако, почтеннейший, ничего, по-моему, предосудительного нет в том, что я пока порадуюсь доброй вести, – возразил Клаас. – Прошу покорно: оставайтесь с нами, – для-ради такого торжественного случая мы и отменных потрохов покушаем, и жареного мяса вволю, и ветчинки – я только что видел у мясника такой аппетитный, жирный окорок, что у меня от зависти слюнки потекли.

– Горе вам, безумцы! – воскликнул приезжий. – Вы веселитесь, а между тем око Господню видны пути ваши.

– Вот что, гонец, – сказал Клаас, – хочешь ты выпить и закусить с нами или нет?

Гонец же на это ответил так:

– Для верных настанет пора предаваться земным утехам не прежде, чем падет великий Вавилон.<sup>77</sup>

Сооткин и Клаас перекрестились, приезжий начал собираться.

Клаас же ему сказал:

– Если уж ты твердо решил уехать от нас несолоно хлебавши, так по крайней мере поцелуй от меня покрепче брата моего Иоста, да смотри охраняй его в бою.

– Ладно, – сказал всадник и уехал.

А Сооткин пошла за покупками, чтобы ради такого счастливого случая попировать. В этот день аист получил на ужин двух пескарей и тресковую голову.

Немного погодя в Дамме распространился слух, что бедняк Клаас разбогател благодаря своему брату Иосту, а каноник высказал предположение, что Иоста, уж верно, околдовала Катлина, коль скоро Клаас получил от него большие деньги и хоть бы плохонький покров пожертвовал Божьей Матери.

Клаас и Сооткин блаженствовали. Клаас трудился в поле или торговал углем, а домашнее хозяйство лежало на хлопотунье Сооткин.

Но горевала она по-прежнему и так же часто поглядывала на дорогу, не идет ли сын ее Уленшпигель.

Все они трое были по-своему счастливы тем счастьем, какое послал им Господь Бог, а чего можно ждать от людей – этого они еще не знали.

## 52

В этот день император Карл получил от сына из Англии такое письмо:

*«Государь и отец мой!»*

---

<sup>76</sup> ...в ряды войск Фридриха Саксонского... – Возможно, здесь имеется в виду саксонский курфюрст Иоганн Фридрих, один из руководителей союза протестантских князей Германии, которые в 1546–1547 гг. вели неудачную войну против императора. Надо отметить, что Костер в этой части романа очень свободно обращается с хронологией.

<sup>77</sup> Для верных настанет пора предаваться земным утехам не прежде, чем падет великий Вавилон. – «Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным» (по названию столицы древнего Вавилонского царства) – образ из Апокалипсиса, символизирующий императорский Рим. Согласно Апокалипсису, после падения Вавилона будет установлено для верных тысячелетнее царство Божие. Во времена реформации враги католицизма видели в этом пророчестве указание на неизбежность гибели папского Рима.

Мне тяжело жить в стране, где кишат, словно черви, словно блохи, словно саранча, окаянные еретики<sup>78</sup>. Ни огнем, ни мечом не удастся очистить от них ствол животворящего древа святой нашей матери-церкви. Мало мне этой напасти, а тут еще и другая: все здесь на меня смотрят не как на короля, а только как на мужа их королевы, без которой я для них ничего собой не представляю. Они издеваются надо мной и в злобных пасквилях, коих авторы и издатели неуловимы, утверждают, что я, подкупленный папой безбожник, виселицами и кострами сею смуту и гублю королевство. Когда же мне в силу крайней необходимости приходится накладывать на них подать, так как они сплошь да рядом нарочно оставляют меня без денег, то в ответ на это они в злобных подметных письмах советуют мне обратиться за помощью к сатане, коему я-де служу. Члены парламента извиняются передо мной, лебезят, а денег все-таки не дают.

Между тем на всех лондонских домах расклеены пасквили, в коих я изображаюсь отцеубийцей, замыслившим лишить Ваше величество жизни, с тем чтобы занять Ваш престол.

Но Вы же знаете, государь и отец мой, что, несмотря на законное честолюбие и гордость, я желаю Вашему величеству долгих и славных дней царствования.

Еще они распространяют по городу в высшей степени искусно сделанную гравюру на меди, и на гравюре этой показано, как я заставляю играть на клавишине спрятанных внутри инструмента кошек, коих хвосты торчат из круглых дырок, где они защемлены железными зажимами. Какой-то человек, то есть я, прижигает им хвосты каленым железом, отчего коты стучат лапами по клавишам и отчаянно мяукают. Я на этой гравюре такой урод, что противно смотреть. Вдобавок я изображен смеющимся. Но можете ли Вы припомнить, государь и отец мой, чтобы я когда-нибудь прибегал к столь постыдному развлечению? Правда, я иногда забавлялся тем, что заставлял кошек мяукать, но никогда при этом не смеялся. На своем бунтовщическом языке они именуют сей клавишин «новоизобретенной пыткой» и возводят это в преступление, но ведь у животных нет души, и всякий человек, а в особенности отпрыск королевского рода, вправе замучить их для своего удовольствия. Но в Англии все помешаны на животных и обходятся с ними лучше, нежели со слугами. Конюшни и псарни здесь – настоящие дворцы, а некоторые дворяне даже спят на одном ложе со своими лошадьми.

В довершение всего королева, доблестная моя супруга, бесплодна. Они же, чиня мне кровную обиду, утверждают, что виноват в том я, а не она, ревнивая, раздражительная и до крайности похотливая женщина. Государь и отец мой, я всечасно молю Бога о том, чтобы он сжалился надо мной и возвел меня на любой другой престол, хоть на турецкий, пока я еще не могу занять тот, на который меня призывает честь быть сыном Вашего единодержавного и преславного величества».

Подпись: *Фил.*

Император ответил на это письмо так:

*«Государь и сын мой!»*

<sup>78</sup> ...в стране, где кишат... еретики. – Реформированная (англиканская) церковь обладала в Англии большой силой и была государственной как до, так и после недолговременного правления Марии Тюдор (см. примеч. к с. 118). Многочисленны в Англии были и различные секты (пуритане, индепенденты и т. д.).

Затруднения у Вас немалые, – я этого не отрицаю, – однако ж запаситесь терпением в ожидании более блестящей короны. Я неоднократно заявлял о своем намерении отречься от нидерландского и других престолов: дряхл и немощен я стал и уже не в силах оказать должное сопротивление Генриху II<sup>79</sup>, королю французскому, ибо Фортуна благоприятствует молодым. Примите в соображение еще и то обстоятельство, что в качестве властителя Англии Вы являете собой грозную силу, способную сокрушить нашу противницу – Францию.

Под Мецем я потерпел позорное поражение и потерял сорок тысяч человек<sup>80</sup>. Саксонцы обратили меня в бегство. Я склоняюсь к мысли, государь и сын мой, передать Вам свои владения, если только Господь по великому и неизреченному милосердию своему чудом не возвратит мне былую силу и крепость.

Итак, вооружитесь терпением, а пока что неуклонно исполняйте свой долг по отношению к еретикам и не щадите никого – ни мужчин, ни женщин, ни девиц, ни младенцев, а то я, к немалому огорчению моему, проведал, что королева, супруга Ваша, нередко им мирволила.

Ваш любящий отец».

Подпись: *Карл*.

## 53

Долго шел Уленшпигель, сбил себе ноги в кровь, но в Майнцском епископстве повстречалась ему повозка с богомольцами, и в ней он доехал до Рима.

Прибыв в город и прыгнув с повозки, он увидел на пороге таверны смазливую бабенку, – та, заметив, что он на нее смотрит, улыбнулась ему.

– Хозяйка, не приютишь ли ты странствующего странника? – ободренный ее лаской, спросил он. – А то мой срок подошел, мне пора разрешиться от бремени грехов.

– Мы привечаем всех, кто нам платит.

– В моей мошне сто дукатов, – сказал Уленшпигель (хотя на самом деле у него был всего-навсего один), – и первый из них я хотел бы истратить сей же час и распить с тобой бутылочку старого римского вина.

– Вино в нашем священном краю недорого, – заметила хозяйка. – Входи и выпей на один сольдо.

Пили они вдвоем так долго и осушили незаметно, за разговором, столько бутылок, что хозяйка вынуждена была оставить других гостей на попечение служанки, а сама удалилась с Уленшпигелем в соседнюю облицованную мрамором комнату, где было холодно, как зимой.

Склонив голову на его плечо, она спросила Уленшпигеля, кто он таков. Уленшпигель же ей на это ответил:

---

<sup>79</sup> *Генрих II* – французский король (1547–1559), сын Франциска I, продолжавший его политику. Жестоко преследуя протестантов во Франции (им была учреждена специальная «Огненная палата»), он не пренебрег возможностью вступить в союз с немецкими протестантами для борьбы против своего постоянного противника Карла V. Заключенное в 1556 г. между двумя католическими властителями пятилетнее перемирие было в следующем же году нарушено Генрихом с благословения римского папы. После заключения мира с Филиппом II (1559) Генрих выдал за него свою старшую дочь (см. примеч. к с. 338). Во время свадебных празднеств на рыцарском турнире Генрих был ранен и через несколько дней умер.

<sup>80</sup> *Под Мецем я потерпел позорное поражение...* – В 1552 г. Карл V был вынужден отдать французам город Мец. В том же году на него напали вступившие в переговоры с французским королем протестантские князья Германии. Войско князей возглавлял Мориц Саксонский. Карл был вынужден бежать во владения своего брата в Каринтию. Заключив с протестантами мир на продиктованных ими условиях, Карл осадил Мец, под которым стоял два с половиной месяца, но не смог его взять.

– Я – государь Обнищанский, граф Голодайский, барон Оборванский, а на моей родине в Дамме у меня двадцать пять боньеров лунного света.

– Это еще что за страна? – отпив из Уленшпигелева бокала, спросила хозяйка.

– Это такая страна, – отвечал он, – где сеют заблуждения, несбыточные надежды и пустые обещания. Но ты, милая хозяйка, от которой так хорошо пахнет и у которой глаза блестят, как драгоценные камни, – ты родилась не при лунном свете. Темное золото твоих волос – это цвет самого солнца. Твои полные плечи, пышную грудь, округлые руки, прелестные пальчики могла сотворить только Венера, которой чужда ревность. Давай вместе поужинаем?

– Красивый богомолец из Фландрии, зачем ты сюда пришел? – спросила она.

– Поговорить с папой, – отвечал Уленшпигель.

– Ах! – всплеснув руками, воскликнула она. – Поговорить с папой! Я – местная жительница и то до сих пор этого не удостоилась.

– А я удостоюсь, – молвил Уленшпигель.

– А ты знаешь, где он бывает, какой он, каков его нрав и обычай? – спросила она.

– Дорогой я разведал, что зовут его Юлий Третий<sup>81</sup>, что он блудник, весельчак и распутник, востер на язык и за словом в карман не лезет, – отвечал Уленшпигель. – Еще я слышал, будто когда-то давно у него попросил милостыню черный, грязный, мрачного вида побирушка, ходивший с обезьянкой, и будущий папа будто бы так его вдруг полюбил, что потом, воссев на папский престол, сделал его кардиналом и теперь не может жить без него.

– Пей и говори тише, – молвила хозяйка.

– Еще про него говорят, – продолжал Уленшпигель, – что, когда ему как-то раз не подали холодного павлина, которого он заказал себе на ужин, он выругался, как солдат: «*Al dispetto di Dio, potta di Dio!*»<sup>82</sup>, и прибавил: «Я наместник Бога. Коли Всевышний разгневался из-за яблока, стало быть, я имею право выругаться из-за павлина!» Видишь, голубушка, я знаю папу, знаю, каков он.

– Ах! – воскликнула она. – Смотри ни с кем про это не говори! А все-таки ты его не увидишь!

– Я с ним поговорю, – сказал Уленшпигель.

– Если сумеешь, я тебе дам сто флоринов.

– Считаю, что они уже у меня в кармане, – сказал Уленшпигель.

На другое утро Уленшпигель, хотя ноги у него все еще гудели, походил по городу и узнал, что папа сегодня служит обедню у Св. Иоанна Латеранского. Уленшпигель пошел туда и стал впереди, на самом виду, и всякий раз, когда папа поднимал чашу с дарами, он поворачивался спиной к алтарю.

Папе сослужил кардинал, смуглый, свирепый и тучный, и, держа на плече обезьянку, причащал народ, сопровождая обряд непристойными телодвижениями. Он обратил внимание папы на поведение Уленшпигеля, и после обедни папа отрядил схватить паломника четырех храбрых солдат, коими гордилась воинственная эта страна.

– Какой ты веры? – спросил его папа.

– Той же, что и моя хозяйка, святейший владыка, – отвечал Уленшпигель.

Папа послал за трактирщицей.

– Во что ты веруешь? – спросил он ее.

– В то же, что и ваше святейшество, – отвечала она.

---

<sup>81</sup> Юлий Третий – папа римский (1550–1555). Контрреформационная политика этого слабовольного человека определялась его окружением, большую роль в котором играли иезуиты. Последние два года своего правления Юлий III не занимался делами, а предавался распутству на вилле под Римом. Он раздавал церковные должности своим родственникам и действительно, как о том говорится в романе, возвел в сан кардинала какого-то проходимца, получившего большую силу при папском дворе.

<sup>82</sup> Ах ты, Бога душу, разрази тебя Бог! (ит.)

– И я в это верую, – вставил Уленшпигель.

Тогда папа спросил, почему же он отворачивается от святых даров.

– Я считал себя недостойным смотреть на них, – отвечал Уленшпигель.

– Ты паломник? – спросил папа.

– Да, – отвечал Уленшпигель, – я пришел из Фландрии за отпущением грехов.

Тут папа благословил его, и Уленшпигель удалился вместе с хозяйкой, которая по возвращении домой отсчитала ему сто флоринов. С этим грузом он отчалил из Рима обратно во Фландрию.

Ему только пришлось уплатить семь дукатов за свидетельство об отпущении грехов.

## 54

В это время два монаха-премонстранта<sup>83</sup> явились в Дамме торговать индульгенциями<sup>84</sup>. Поверх монашеского одеяния на них были кружевные рубахи.

В хорошую погоду они торговали на паперти, в ненастную – в притворе, и там они вывесили тариф, указывавший, что за шесть ливров, за патар, за пол парижского ливра, за семь или же за двенадцать флоринов вы можете получить отпущение грехов на сто, на двести, на триста, на четыреста лет, отпущение полное – подороже, отпущение наполовину – подешевле, прощение самых страшных грехов, даже нечистых помыслов о Пресвятой Деве. Но это стоило целых семнадцать флоринов.

Уплатившим сполна монахи выдавали кусочки пергамента, на которых был проставлен срок действия индульгенции. Под этим вы читали:

Грешник, когда не хочешь ты  
Печься, вариться, жариться  
Тысячу лет в чистилище  
И без конца в аду –  
Здесь добудь индульгенцию,  
Тяжких грехов прощение,  
И за толику малую  
Всевышний тебя спасет.

И покупатель валил к ним отовсюду.

Один из честных иноков любил проповедовать. Краснорожий этот монах гордо выстав-  
лял напоказ свой тройной подбородок и толстое пузо.

– Несчастный! – восклицал он, воззрившись на кого-либо из слушателей. – Несчастный! Ты – в аду! Пламя жжет тебя нещадно. Ты кипишь в котле с маслом, в котором жарятся *oliekoek*'и<sup>85</sup> для Астарты. Ты – колбаса в печи Люцифера, ты – жаркое в печи главного беса Гильгирота, вот ты кто, и тебя еще сначала изрубили на мелкие кусочки. Взгляни на этого великого грешника, пренебрегшего индульгенциями, взгляни на это блюдо с фрикадельками –

---

<sup>83</sup> *Премонстранты* – католический монашеский орден, основанный в 1119 г. Название ордена произошло от наименования монастыря близ Реймса «*Ré monté*» – луг, указанный (Богом) (монастырь был построен на лугу, где священник Норберт, основатель ордена, собирал своих учеников). Орден пользовался поддержкой папы. После реформации число премонстрантских монастырей сильно уменьшилось.

<sup>84</sup> *Индульгенции* – папские грамоты об «отпущении грехов» за счет находящейся, по католическому учению, в распоряжении церкви «благодати». Эта благодать, которая имеет своим источником добрые дела Христа и святых, считается католиками единственным средством спасения и может распределяться церковью по ее усмотрению, хотя бы и продаваться за деньги. Циничная торговля индульгенциями была для римского двора важным источником дохода. Запрещение продажи индульгенций было одним из основных требований Реформации.

<sup>85</sup> Пончики (*флам.*).

это ты, это ты, это твое грешное, твое окаянное тело. А какова подлива? Сера, деготь, смола! И все несчастные грешники употребляются в пищу, а потом вновь оживают для новых мучений – и так без конца. Вот где воистину плач и скрежет зубов! Сохрани, Господи, и помилуй! Да, ты в аду, бедный грешник, и ты терпишь все эти муки. Но вот за тебя уплатили денье – и деснице твоей вдруг стало легче. Уплатили еще полденье – и обе руки твои уже не в огне. А прочие части тела? Всего лишь флорин – и они окроплены росой отпущения. О сладостное прохлаждение! Десять дней, сто дней, тысячу лет – в зависимости от взноса – ты не жаркое, не *oliekoek* и, не фрикасе! А если ты не помышляешь о себе, окаянный, то разве в огненных глубинах преисподней нет других страждущих душ – душ твоих родственников, твоей любимой супруги, какой-нибудь смазливой девчонки, с которой ты часто грешил?

Тут монах толкал локтем в бок своего товарища, стоявшего рядом с серебряным блюдом в руках. А тот по этому знаку опускал очи долу и, призывая к пожертвованиям, благолепно встряхивал блюдо.

– Нет ли у тебя в этом страшном огне сына, дочери, милого твоему сердцу младенца? – продолжал проповедник. – Они кричат, они плачут, они зывают к тебе. Ужели ты пребудешь глух к их стенаниям? Нет, твое ледяное сердце растает, а обойдется это тебе недорого – всего-навсего один кароллю. Но смотри: от звона кароллю, стукнувшегося о презренный металл (при этих словах его товарищ опять тряхнул блюдо), пламя расступилось, и бедная душа выходит из жерла вулкана. И вот она уже на свежем воздухе, на вольном воздухе! Где пытка огнем? Пред нею море, она погружается в воду, плывет на спине, на животе, то нырнет, то вновь всплывет. Слышишь ли радостные ее восклицания? Видишь ли, как она плещется? Ангелы смотрят на нее и ликуют. Они ждут ее, но ей все мало, ей хочется стать рыбкой. Она не знает, что там, на высоте небесной, ей уготованы приятные омовения в душистой влаге, в коей льдинами плавают горы белого и холодного леденца. Показалась акула, но душа не боится ее. Она вспрыгивает ей на спину, но акула этого не чувствует, и душа погружается с ней во глубину морскую. Там она приветствует ангелов вод, и те ангелы едят *waterzoeu*<sup>86</sup>, подаваемую в коралловых котелках, и свежие устрицы на перламутровых тарелках. И как же ее здесь встречают, чествуют, приветчают! Ангелы же небесные неустанно зовут ее к себе. Наконец, освеженная, счастливая, она воспаряет и, с песней на устах, звонкой, как трели жаворонка, взлетает к самому высокому небу, где во всей своей славе сидит на престоле сам Господь Бог. Там видит она всех своих земных сродников и друзей, за исключением тех, что, усомнившись в пользе индульгенций и в силе молитв святой нашей матери-церкви, горят в огне преисподней. И гореть им ныне и присно, ныне и присно, ныне и присно, и во веки веков, – бурнопламенная уготована им бесконечность. А та душа – она у Бога, совершает приятные омовения и хрустает леденец. Покупайте же индульгенции, братья! За какую угодно цену – за крузат, за червонец, за английский соверен! Мы и мелочью не побрезгуем. Покупайте! Покупайте! Мы торгуем священным товаром, а товар тот про всякого – и про богатого и про бедного, но только, братья, к великому нашему сожалению, в долг мы не отпускаем, ибо Господь наказывает того, кто не платит наличными.

Другой монах все потряхивал да потряхивал блюдо. И туда градом сыпались флорины, крузаты, дукатоны, патары, соли и денье.

Клаас на радостях, что разбогател, уплатил флорин и получил отпущение грехов на десять тысяч лет. Монахи выдали ему в виде удостоверения кусок пергамента.

Вскоре во всем Дамме осталось лишь несколько скаредов, так и не купивших индульгенций, и тогда монахи перебрались в Хейст.

<sup>86</sup> Рыбная солянка (флам.).



55

Все в том же странническом одеянии, но уже очищенный от скверны греховной, Уленшпигель, оставив Рим, шел все прямо, прямо и наконец очутился в Бамберге, который славился на весь мир своими овощами.

Веселая хозяйка трактира, куда он первым делом заглянул, спросила его:

– Молодой человек! Не хочешь ли поесть за свои деньги?

– Хочу, – отвечал Уленшпигель. – А сколько это у вас стоит?

Хозяйка же на это ответила так:

– За господским столом – шесть флоринов, за мещанским – четыре, а за семейным – два.

– Чем дороже, тем лучше, – объявил Уленшпигель.

С этими словами он сел за господский стол. Наевшись досыта и запив рейнвейном, он обратился к хозяйке с такою речью:

– Сударушка! Ну вот я и поел на мои деньги. Дай-ка мне шесть флоринов.

А хозяйка ему:

– Да ты что, смеешься? А ну, плати денежки!

– Миленькая *baesine*!<sup>87</sup> – молвил Уленшпигель. – По твоему виду никак нельзя сказать, что ты – неисправная должница. Напротив, на лице твоём написана такая добросовестность, такая честность и такая любовь к ближнему, что ты не то что шесть флоринов, которые ты мне должна, а и все восемнадцать уплатишь. О эти прекрасные глаза! Из них на меня льются солнечные лучи, и моя страсть к тебе, согретая этими лучами, растёт, как бурьян на пустыре.

– Нужна мне больно твоя страсть и твой бурьян! – огрызнулась хозяйка. – Плати и убирайся вон.

– Уйти – это значит никогда больше тебя не увидеть! – воскликнул Уленшпигель. – Нет, лучше умереть! *Baesine*, прелестная *baesine*, я не привык обедать за шесть флоринов – ведь я бедный побродяжка, скитаюсь по горам и долам. Сейчас я налопался до того, что у меня, как у пса в жаркий день, язык скоро вывалится наружу. Будь настолько любезна, дай мне шесть флоринов – право же, я их заработал тяжким трудом моих челюстей. Дай мне шесть флоринов, а уж я тебя буду так ласкать, целовать, миловать, как двадцать семь любовников, вместе взятые, тебя бы не удовлетворили.

– Это ты так говоришь из-за денег, – сказала она.

– А ты хочешь, чтобы я тебя даром съел? – спросил он.

– Нет, не хочу, – отвечала она, высвобождаясь.

– Ах! – воскликнул он, продолжая преследовать ее. – Кожа у тебя точно сливки, волосы – точно золотистый фазан на вертеле, губы – точно вишни! Есть ли кто на свете вкуснее тебя?

– И ты еще, нахал этакий, денег с меня требуешь! – воскликнула она, смеясь. – Скажи спасибо, что я накормила тебя даром, ничего с тебя не взяла.

– Если б ты знала, сколько бы у меня еще туда вошло! – молвил Уленшпигель.

– Проваливай! – объявила хозяйка. – А то сейчас мой муж придет.

– Я не буду алчным заимодавцем, – снова заговорил Уленшпигель, – дай мне всего-навсего один флорин: пить захочется, а выпить не на что.

– На, паршивец! – сказала хозяйка и протянула ему монету.

– Можно, я к тебе еще зайду? – спросил Уленшпигель.

– Уходи добром! – прикрикнула на него хозяйка.

<sup>87</sup> Хозяйка (флам.).

– Добром – это значит уйти к тебе же, милашка, – рассудил Уленшпигель. – Вот если б я никогда больше не увидел твоих прекрасных глаз, это было бы для меня большое зло. Дозволь мне остаться – я бы тебя съедал каждый день всего на один флорин.

– Вот я сейчас палку возьму! – пригрозила хозяйка.

– Возьми лучше мою, – предложил Уленшпигель.

Хозяйка прыснула, но уйти ему все же пришлось.

## 56

К этому времени в Льеже стало беспокойно из-за еретиков, и Ламме Гудзак возвратился в Дамме. Жена его была этому рада – ей надоели зубоскалы-льежцы, вечно поднимавшие на смех ее простодушного супруга.

Ламме часто виделся с Клаасом, а Клаас, разбогатевав, стал завсегдатаем таверны *Blauwe Torre*<sup>88</sup> – там у него и у его собутыльников был облюбован столик. За соседним столиком обычно сидел и из скупости выпивал не больше полпинты прижимистый старшина рыботорговцев Иост Грейпстювер, жмот и скупердяй, питавшийся одной селедкой и думавший более о деньгах, нежели о спасении души. А у Клааса лежал в кошельке кусок пергамента, гласивший, что ему отпущены грехи на десять тысяч лет вперед.

Однажды вечером Клаас, сидя за столиком в *Blauwe Torre* вместе с Ламме Гудзаком, Яном ван Роозебеке и Матейсом ван Асхе по соседству с Иостом Грейпстювером, изрядно выпил, и Ян Роозебеке по сему поводу заметил:

– Так много пить – это грех!

Клаас же ему на это сказал:

– За лишнюю пинту полагается гореть в аду всего полдня, а у меня в кошельке отпущение на десять тысяч лет. Кто купит у меня сто дней, тот потом хоть залейся пивом.

– А за сколько продашь? – крикнули все.

– За пинту, – отвечал Клаас, – а за *muske conyn* (то есть за порцию кролика) продам полтора дня.

Кое-кто из кутил поднесли Клаасу по кружке пива, иные угостили ветчинкой, а он каждому отрезал по узенькой полоске пергамента. Однако на деньги, вырученные от продажи индульгенций, Клаас пил и ел не один – ему усердно помогал Ламме Гудзак и раздулся прямо на глазах, а Клаас между тем ходил по таверне и набивался со своим товаром.

Наконец Грейпстювер повернул к нему злующую свою морду.

– А десять дней продашь? – спросил он.

– Нет, – отвечал Клаас, – такой малюсенький кусочек не отрежешь.

Все покатались со смеху, а Грейпстюверу пришлось проглотить пилюлю.

Затем Клаас и Ламме побрели домой, и у обоих было такое чувство, будто ноги у них из хлопчатой бумаги.

## 57

К концу третьего года своего изгнания Катлина вернулась к себе домой в Дамме. Она все твердила в исступлении: «Огонь в голове, душа стучится, пробейте дыру, душа просится наружу». Завидев коров или овец, она по-прежнему убегала. Любила сидеть на лавочке под липами, позади своей хижины, – трясла головой, всматривалась в сограждан, проходивших мимо, но никого не узнавала, а те говорили: «Вон дурочка!»

---

<sup>88</sup> «Голубая башня» (флам.).

А Уленшпигель, скитаясь по дорогам и тропам, увидел однажды на большаке осла в богатой сбруе с медным набором, с висюльками и кисточками из красной шерсти.

Осла окружали какие-то пожилые женщины и говорили все разом:

– На него никто не сядет – это колдовской осел страшного чародея барона де Ре<sup>89</sup>, которого сожгли живьем за то, что он восьмерых детей своих продал черту.

– Осел, бабочки, бежал так быстро, что его не догнали. Его покровитель – сам сатана.

– А потом он все-таки умирался и стал на дороге, стражники скорей к нему, а он давай их лягать, давай верещать – они и заробели.

– Да и верещал-то он не по-ослиному – так только бесы воют.

– Ну, его и оставили тут пастись – и на суд не повели, и живьем за колдовство не сожгли.

– Трусы наши мужчины.

Храбрые на словах, эти кумушки, как только ослик прят ушами или же обмахивался хвостом, с криком разбегались кто куда, потом опять приближались, гудоря и тараторя, но при каждом новом движении серого неукоснительно применяли тот же прием.

Уленшпигель наблюдал за ними и посмеивался.

«Ох уж эти бабы! – думал он. – До чего же любопытны и до чего же болтливы – слова у них текут, как вода, особенно у пожилых – молодым не до того: они заняты сердечными делами, и речь у них льется не беспрерывным потоком. – Затем он окинул взглядом ослика. – Эта колдовская животина, видать, проворна и из стороны в сторону не вихляется. Я буду на нем ездить, а не то так продам».

Не долго думая, Уленшпигель нарвал овса, накормил серого, затем мигом взобрался на него, натянул поводья и, обращаясь то на север, то на восток, то на запад, издали благословил женщин. Те в ужасе попадали на колени. А вечером уже переходила из уст в уста весть о том, что с неба слетел ангел в войлочной шляпе с фазаньим пером, благословил всех женщин и по милости Божией угнал колдовского осла.

А Уленшпигель между тем трусил на ослике по злачным долинам, где резвились на воле скакуны, где коровы и телки, разнежившись, лежали на солнышке. И он дал ослу имя Иеф.

Осел то и дело останавливался и с удовольствием закусывал репейником. Время от времени он, однако, вздрагивал всем телом и бил себя хвостом по бокам – это он отгонял жадных оводов, которые, как и он, хотели заморить червячка, но не чем иным, как ослиным мясом.

Уленшпигель был не в духе – желудок у него кричал от голода.

– Тебе, господин осел, кроме этих сочных репьев, ничего и не надо, – обратился Уленшпигель к ослу, – ты был бы счастлив вполне, если б никто тебе не мешал ими наслаждаться, никто не напоминал, что ты смертен, – следственно, рожден, чтобы терпеть всякого рода низости. Как и у тебя, – продолжал он, сдавив ему коленками бока, – у человека, носящего священную туфлю, тоже есть свой овод – это господин Лютер. И у его величества Карла тоже есть свой овод, а именно – Франциск Первый, король с предлинным носом и с еще более длинным мечом. А уж мне-то, бедняжке, мне, скитальцу на манер Вечного Жида<sup>90</sup>, мне, господин осел, на роду написано иметь своего овода. Увы мне! Все мои карманчики в дырках, и в эти дыры, как все равно мышки от кошки, юркнули все мои милые дукатики, флорины и *daelder*'ы. И что за притча – ума не приложу: я деньги люблю, а они меня – нет. Что бы там ни говорили, а Фортуна – не женщина: она любит только скопидомов и сквалыг, которые копят деньги, пря-

<sup>89</sup> *Барон де Ре*, Жиль де Лаваль (1404–1440) – полководец французского короля Карла VII, соратник Жанны д'Арк, маршал Франции (с 1429 г.). Впоследствии удалился от двора и вел уединенную жизнь в своих поместьях, занимаясь алхимией и магией и предаваясь противоестественным порокам. Жертвами его, как говорили, стали сотни замученных им детей. Был арестован и после громкого процесса сожжен. Народные предания рисуют его страшным колдуном и чернокнижником. Имя его связывают с легендой о Синей Бороде.

<sup>90</sup> *Вечный Жид*. – По средневековым легендам, некий иудей (в немецких преданиях он зовется Агасфером) ударил Христа, шедшего на казнь (по другим рассказам, прогнал Христа от своего дома, где тот хотел отдохнуть), за что был обречен на вечное странствование до второго пришествия Христа на землю.

чут, держат под семью замками и не позволяют им высунуть в окошко даже кончик золоченого носика. Вот какой овод язвит меня, жалит, щекочет – но так, что мне не смешно. Да ты не слушаешь меня, господин осел, ты думаешь только о том, как бы еще подкормиться. Ах ты, пузан, набивающий свое пузо! Твои длинные уши глухи к воплям пустого желудка. Нет, ты меня послушай!

С последним словом он больно хлестнул его. Осел заверещал.

– Ну, запел, стало быть, можно и в путь, – сказал Уленшпигель.

Но осел был неподвижен, как межевой столб, – видимо, он твердо решил обглодать весь придорожный репейник. А репейник тут рос в изобилии.

Приняв это в соображение, Уленшпигель соскочил на землю, нарезал репейника, потом опять сел на осла и, держа репейник около самого его носа, заманил его таким образом во владения ландграфа Гессенского.

– Господин осел, – говорил он дорогой, – ты послушно бежишь за двумя-тремя жалкими головками репейника, а целое поле репейника ты бросил. Так же точно поступают и люди: одни гонятся за цветами славы, которые Фортуна держит у них перед носом, другие – за цветами барышей, третьи – за цветами любви. А в конце пути они, подобно тебе, убеждаются, что гнались за малостью, позади же оставили кое-что поважней – здоровье, труд, покой и домашний уют.

Разговаривая таким образом со своим ослом, Уленшпигель приблизился к ландграфскому замку.

На ступеньках подъезда двое старших аркебузирова играли в кости.

Один из них, рыжий великан, обратил внимание на Уленшпигеля – тот, приняв почти-тельную позу, сидел на своем Иефе и наблюдал за их игрой.

– Чего тебе, голодная твоя паломничья рожа? – спросил он.

– Я и точно здорово голоден, – отвечал Уленшпигель, – а паломничаю я не по своей доброй воле.

– Ежели ты голоден, так накорми свою шею веревкой, – посоветовал аркебузир, – вон она болтается на виселице, предназначенной для бродяг.

– Ежели вы, ваше высокоблагородие, дадите мне хорошенький золотой шнурочек с вашей шляпы, то я, пожалуй, повешусь, – молвил Уленшпигель, – но только впившись зубами в жирный окорок – вон он болтается у колбасника.

– Ты откудава путь держишь? – спросил аркебузир.

– Из Фландрии, – отвечал Уленшпигель.

– Чего ты хочешь?

– Хочу показать его светлости господину ландграфу одну мою картину.

– Коли ты живописец, да еще из Фландрии, то войди – я отведу тебя к моему господину, – сказал аркебузир.

Представ перед ландграфом, Уленшпигель поклонился ему раза три с лишним.

– Простите мне, ваша светлость, мою дерзость, – начал он. – Я осмелился прибегнуть к благородным стопам вашим, дабы показать вам картину, которую я для вас написал, – я имел честь изобразить на ней царицу небесную во всей ее славе. Я высокого мнения о своем мастерстве, – продолжал он, – а потому лыщу себя надеждой, что работа моя вам понравится и что постоянным моим местопребыванием будет вот это почетное кресло красного бархата, в котором при жизни сидел незабвенный живописец, состоявший при благородной вашей особе.

Господин ландграф нашел, что картина превосходна.

– Ты будешь нашим живописцем, садись в то кресло, – решил он и от восторга поцеловал его в обе щеки.

Уленшпигель сел.

– Ты обносился, – оглядев его, заметил господин ландграф.

Уленшпигель же ему на это сказал:

– То правда, ваша светлость. Мой осел Иеф хоть репьями закусил, а я нахожусь в последней крайности и уже три дня питаюсь только дымом надежд.

– Сейчас ты сытно поужинаешь, – сказал ландграф. – А где твой осел?

На это ему Уленшпигель ответил так:

– Я оставил его на площади перед замком вашего великодушия. Я буду счастлив, если Иеф тоже получит на ночь пристанище, подстилку и корм.

Господин ландграф тот же час приказал одному из слуг ходить за Уленшпигелевым ослом, как за его собственными.

Немного спустя сели ужинать, и уж тут пошел пир горой! От яств валил пар, всевозможных вин – разливанное море.

Уленшпигель и ландграф были оба красны, как жар. Уленшпигель веселился, ландграф пребывал в задумчивости.

– Живописец! – неожиданно обратился к Уленшпигелю ландграф. – Я хочу, чтобы ты меня написал, ибо это великое утешение для смертного государя – оставить свой образ на память потомкам.

– Конечно, господин ландграф, для меня ваша воля – закон, – сказал Уленшпигель, – а все же я худым своим умишком смекаю, что показаться грядущим столетиям в одиночестве – это для вашего высокопревосходительства не столь большая радость. Вас надлежит запечатлеть вместе с доблестною вашею супругою, госпожою ландграфиней, с вашими придворными дамами и вельможами, с вашими наиболее заслуженными военачальниками, и вот в их окружении вы с супругой воссияете, как два солнца среди фонарей.

– Твоя правда, живописец, – согласился ландграф. – Сколько же ты с меня возьмешь за свой великий труд?

– Сто флоринов – хотите вперед, хотите потом, – отвечал Уленшпигель.

– Возьми вперед, – предложил господин ландграф.

– Человеколюбивый сеньор, – воскликнул Уленшпигель, – вы наливаете масла в мою лампу, и она будет гореть в вашу честь!

На другой день он попросил господина ландграфа устроить так, чтобы перед его взором прошли те, кого ландграф удостоит чести быть изображенным на картине.

Первым явился герцог Люнебургский, начальник ландскнехтов, состоявших на службе у ландграфа. Это был толстяк, с великим трудом носивший свое готовое лопнуть пузо. Приблизившись к Уленшпигелю, он шепнул ему на ухо:

– Если ты не сбавишь мне на картине половину жира, мои солдаты тебя повесят.

С этими словами герцог удалился.

После него явилась высокая дама с горбом на спине и с грудью плоской, как меч правосудия.

– Господин живописец, – сказала она, – если ты не снимешь у меня одну округлость со спины и не приставишь двух к груди, я донесу, что ты отравитель, и тебя четвертуют.

С этими словами дама удалилась.

Затем вошла молоденькая, миленькая, свеженькая белокурая фрейлина, у которой, однако, недоставало трех верхних передних зубов.

– Господин живописец, – сказала она, – изволь написать меня так, чтобы я улыбалась и показывала все тридцать два зуба, иначе вот этот мой кавалер изрубит тебя на куски.

И, показав на того старшего аркебузира, который третьего дня играл на ступенях подъезда в кости, ушла.

Долго тянулась вереница. Наконец Уленшпигель остался наедине с ландграфом.

– Если ты, изображая все эти лица, покривишь душой хотя бы в единой черте, я велю отрубить тебе голову, как цыпленку, – пригрозил господин ландграф.

«Отсекут голову, четвертую, изрубят на куски, в лучшем случае повесят, – подумал Уленшпигель. – Тогда уж лучше не писать вовсе. Ну, там дело видно будет».

– Какую залу мне надлежит украсить своею живописью? – осведомился он.

– Следуй за мной, – сказал ландграф.

Малое время спустя он привел его в обширную залу с высокими голыми стенами.

– Вот эту, – сказал ландграф.

– Нельзя ли затянуть стену большой завесой, чтобы уберечь мою живопись от мух и от пыли? – спросил Уленшпигель.

– Можно, – отвечал господин ландграф.

Когда же завеса была натянута, Уленшпигель потребовал трех подмастерьев на предмет растирания красок.

Целых тридцать дней Уленшпигель и его подручные пировали на славу, не зная отказа ни в сладких яствах, ни в старых винах – об этом заботился сам ландграф.

Но на тридцать первый день ландграф просунул нос в дверную щель – входить в залу Уленшпигель ему воспретил.

– Ну, Тиль, как твоя картина? – осведомился он.

– До конца еще далеко, – отвечал Уленшпигель.

– Можно посмотреть?

– Нет еще.

На тридцать шестой день ландграф опять просунул нос в щель.

– Как дела, Тиль? – спросил он.

– К концу дело идет, господин ландграф, – отвечал Уленшпигель.

На шестидесятый день ландграф разгневался и вошел в залу.

– Сейчас же покажи мне картину, – приказал он.

– Быть по-вашему, грозный государь, – сказал Уленшпигель, – но только дозвоьте не поднимать завесу до тех пор, пока не соберутся господа военачальники и придворные дамы.

– Хорошо, – сказал господин ландграф.

По его приказу все явились в залу.

Уленшпигель стал перед опущенной завесой.

– Господин ландграф, – начал он, – и вы, госпожа ландграфиня, и вы, господин герцог Люнебургский, и вы, прекрасные дамы и отважные военачальники! За этою завесой я постарался изобразить ваши прелестные и ваши мужественные лица. Каждый из вас узнает себя без труда. Вам хочется поскорей взглянуть – ваше любопытство мне понятно, – однако ж будьте добры, наберитесь терпения: я намерен сказать вам два слова, а впрочем, может, и больше. Прекрасные дамы и отважные военачальники! В жилах у вас течет благородная кровь, а потому вы увидите мою картину и полюбуетесь ею. Но если в вашу среду затесался мужик, он увидит голую стену, и ничего больше. А теперь соблаговолите раскрыть ваши благородные очи.

С этими словами Уленшпигель отдернул завесу.

– Только знатым господам дано увидеть картину, картину дано увидеть только знатым дамам. Скоро все будут говорить: «Он слеп к живописи, как мужик. Он разбирается в живописи, как настоящий дворянин!»

Все тарасили глаза, притворяясь, что смотрят на картину, показывали друг другу, кивали, узнавали, а взаправду видели одну голую стену и в глубине души были этим обстоятельством весьма смущены.

Внезапно шут, зазвенев бубенчиками, подпрыгнул на три фута от полу.

– Пусть меня ославят мужичонкой, мужиком, мужланом, мужичищей, а я в трубы затрублю и в фанфары загремлю, что вижу перед собой голую стену, белую стену, голую стену! Клянусь Богом и всеми святыми! – воскликнул он.

– Когда в разговор вступают дураки, умным людям пора уходить, – изрек Уленшпигель.

Он уже выехал за ворота замка, как вдруг его остановил сам ландграф.

– Дурак ты, дурак! – сказал он. – Ходишь ты по белу свету, славил все доброе и прекрасное, а над глупостью хохочешь до упаду. Как же ты перед такими высокопоставленными дамами и еще более высокопоставленными и важными господами посмел шутить мужицкие шутки над дворянской геральдической спесью? Ой, смотри, вздернут тебя когда-нибудь за твои вольные речи!

– Ежели веревка будет золотая, она при виде меня порвется от страха, – возразил Уленшпигель.

– На, держи, вот тебе кончик этой веревки, – сказал ландграф и дал ему пятнадцать флоринов.

– Очень вам благодарен, ваша светлость, – сказал Уленшпигель, – теперь каждый придорожный трактир получит от меня по золотой ниточке, и все эти мерзавцы-трактирщики превратятся в крезов.

Тут он заломил набекрень свою шляпу с развевающимся пером и припустил осла во весь дух.

## 58

Листья на деревьях желтели, выл осенний ветер. Катлина в иные дни часа на три приходила в разум. И тогда Клаас говорил, что это по великому милосердию своему на нее снизошел Дух Святой. В такие минуты она волшебной силой слов и движений наделяла Неле даром ясновидения, и мысленному взору Неле открывалось все, что происходило на сто миль в окружности – на площадях, на улицах и в домах.

И вот однажды Катлина, находясь в совершенном уме, сидела с Клаасом, Сооткин и Неле, ела *oliekoek*<sup>91</sup> и запивала *dobbelkuyl* ом.

Клаас сказал:

– Сегодня его святейшее величество император Карл Пятый отрекается от престола<sup>91</sup>. Неле, деточка, ты не можешь сказать, что сейчас творится в Брюсселе?

– Скажу, если Катлина захочет, – отвечала Неле.

Катлина велела девушке сесть на скамью и, творя заклинания и ворожа, погрузила Неле в сон.

– Войди в маленький домик в парке – здесь любит бывать император Карл Пятый, – сказала она.

– Я в маленькой комнатке, – тихим и как бы сдавленным голосом заговорила Неле, – стены ее выкрашены зеленой масляной краской. Здесь находится человек лет пятидесяти четырех, лысый, седой, с русой бородкой, с выдающейся нижней челюстью, с недобрым взглядом серых глаз, полных лукавства, жестокости и напускного добродушия. Этого человека именуют «его святейшим величеством». Он простужен и сильно кашляет. Перед ним стоит молодой человек, большеголовый, уродливый, как обезьяна. Я видела его в Антверпене – это король Филипп. Его святейшее величество распекает сына за то, что тот ночевал не дома. Наверно, добавляет его величество, спал в каком-нибудь вертепе с непотребной девкой. Его величество говорит сыну, что от него разит кабаком, что он выбирает себе развлечения, роняющие королевское достоинство, что к его услугам влюбленные знатные дамы с лилейными ручками, отличающиеся изяществом форм, освежающие свое атласное тело в ароматных ваннах, – неужели

---

<sup>91</sup> Сегодня... император Карл Пятый отрекается от престола. – Передача Карлом V своих владений Филиппу происходила постепенно. На описанной в романе торжественной церемонии в Брюсселе (октябрь 1555 г.) Филипп был назначен правителем Нидерландов и главой ордена Золотого руна (см. примеч. к с. 152). Отречение Карла от испанского престола в пользу сына последовало лишь через несколько месяцев (январь 1556 г.). Императорский престол перешел к Фердинанду Австрийскому, брату Карла.

они хуже какой-нибудь грязной свиньи, еще не успевшей отмыть следы объятий пьяного солдафона? Его величество внушает сыну, что перед ним не устоит ни одна девица, ни одна замужняя женщина, ни одна вдова, ни одна из тех благородных и прекрасных дам, что освещают ложе страсти надушенными светильниками, а не вонючими сальными свечками.



## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.